

Веселая наука (La Gaya Scienza)

Фридрих Ницше

ВЕСЕЛАЯ НАУКА ("la gaya scienza")

Мой собственный дом — мое пристрастие,
Никому и ни в чем я не подражал,
И — мне все еще смешон каждый Мастер,
Кто сам себя не осмеял.
Над моей входной дверью

Предисловие к второму изданию

1

Этой книге, быть может, недостаточно только одного предисловия, и все-таки остается под большим вопросом, могут ли помочь предисловия тому, кто сам не пережил чего-либо подобного, приблизиться к переживаниям этой книги. Она словно написана на языке весеннего ветра: в ней есть заносчивость, беспокойство, противоречивость, мартовская погода, нечто постоянно напоминающее как о близости зимы, так и о победе над зимой, победе, которая будет одержана, должна быть одержана, уже, быть может, одержана... Благодарность непрестанно бьет из нее ключом, словно случилось как раз самое неожиданное, благодарность выздоравливающего, — ибо выздоровлением и было самое неожиданное. "Веселая наука" — это означает сатурналии духа, который терпеливо противостоял ужасно долгому гнету — терпеливо, строго, хладнокровно, не сгибаясь, но и не питая иллюзий, — и который теперь сразу прохватывается надеждой, надеждой на здоровье, опьянением выздоровления. Что же удивительного, если при этом обнаруживается много неблагоприятного и дурачливого, много шаловливых нежностей, растраченных и на такие проблемы, которые имеют колючую кожу и которым нипочем любые соблазны и приманки. Вся эта книга и есть не что иное, как веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близких авантур, наново открытых морей, вновь дозволенных, вновь поволенных целей. А чего только не оставил я позади себя! Это подобие пустыни, истощение, неверие, оледенение в самом разгаре юности, эта преждевременно вставная старость, эта тирания страдания, которую все еще превосходила тирания гордости, отклонившей выводы страдания, — а выводы и были самым утешением. — это радикальное одиночество, как необходимая оборона от ставшего болезненно ясновидческим презрения к человеку, это принципиальное самоограничение во всем, что есть горького, терпкого, причиняющего боль в познании, как то предписывало отвращение, постепенно выросшее из неосмотрительной духовной диеты и изнеженности — ее называют романтикой, — о, кто бы смог сопережить это со мною! А если бы кто и смог, он наверняка приписал бы мне нечто большее, чем эту толику дурачества, распушенности, "веселой науки", — к примеру, горсть песен, которые приложены на этот раз к книге, — песен, в которых поэт непростительным образом потешается над всеми поэтами. — Ах, отнюдь не на одних поэтов с их прекрасными "лирическими чувствами" должен излить свою злость этот вновь воскресший: кто знает, какой жертвы ищет он себе, какое чудовище пародийного сырья привлечет его в скором времени? "Incipit tragoedia" — так называется оно в заключение этой озабоченно-беззаботной книги: держите ухо востро! Что-то из ряда вон скверное и злое предвещается здесь: "Incipit parodia", в этом нет никакого сомнения...

2

Но оставим господина Ницше: что нам до того, что господин Ницше снова стал здоровым?.. В распоряжении психолога есть мало столь привлекательных вопросов, как вопрос об отношении между здоровьем и философией, а в случае, если он и сам болеет, он вносит в собственную болезнь всю свою научную любознательность. Ибо предполагается, что тот, кто есть личность, имеет по необходимости и философию своей личности: но здесь есть одно существенное различие. У одного философствуют его недостатки, у другого — его богатства и силы. Первый нуждается в своей философии, как нуждаются в поддержке, успокоении, лекарстве, избавлении, превозношении, самоотчуждении; у последнего она лишь красивая роскошь, в лучшем случае — сладострастие торжествующей благодарности, которая в конце концов должна космическими прописными буквами вписываться в небо понятий. Но в других, более обыкновенных случаях, когда философия стимулируется бедственным положением, как это имеет место у всех больных мыслителей — а больные мыслители, пожалуй, преобладают в истории философии, — что же выйдет из самой мысли, подпадающей гнету болезни? Вот вопрос, касающийся психолога, и здесь возможен эксперимент. Не иначе, как это делает

путешественник, предписывающий себе проснуться к назначенному часу и затем спокойно предающийся сну, так и мы, философы, в случае, если мы заболеваем, предаемся на время телом и душою болезни — мы как бы закрываем глаза на самих себя. И подобно тому, как путешественник знает, что в нем не спит нечто, отсчитывая часы и вовремя пробуждая его, так и мы знаем, что решительный момент застанет нас бодрствующими, — что тогда воспрянет это самое нечто и поймает дух с поличным, т. е. уличит его в слабости, или в измене, или в покорности, или в помрачении и как бы там еще не назывались все болезненные состояния духа, которые в здоровые дни сдерживаются гордостью духа (ибо как гласит старая поговорка: “Три гордых зверя делят трон — гордый дух, павлин и конь”). После такого самодознания и самоискушения учишься смотреть более зорким взором на все, о чем до сих пор вообще философствовали; разгадываешь лучше, чем прежде, произвольные околицы, плутания, пригретые солнцем привалы мысли, вокруг которых вращаются и которыми совращаются страждущие мыслители именно в качестве страждущих; теперь уже знаешь, куда больное тело и его нужда бессознательно теснит, вгоняет, увлекает дух — к солнцу, покою, кротости, терпению, лекарству, усладе любого рода. Каждая философия, ставящая мир выше войны, каждая этика с отрицательным содержанием понятия счастья, каждая метафизика и физика, признающие некий финал, некое конечное состояние, каждое преобладающее эстетическое или религиозное взыскание постороннего, потустороннего, внележащего, вышестоящего — все это позволяет спросить, не болезнь ли была тем, что инспирировало философа. Бессознательное облегчение физиологических потребностей в мантию объективного, идеального, чисто духовного ужасает своими далеко идущими тенденциями, — и довольно часто я спрашивал себя, не была ли до сих пор философия, по большому счету, лишь толкованием тела и превратным пониманием тела. За высочайшими суждениями ценности, которыми доньше была ведома история мысли, таятся недоразумения телесного сложения, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны сословий и целых рас. Позволительно рассматривать все эти отважные сумасбродства метафизики, в особенности ее ответы на вопрос о ценности бытия, как симптомы определенных телесных состояний, и ежели подобные мироутверждения или мироотрицания, в научном смысле, все до одного не содержат и крупницы смысла, то они все же дают историку и психологу тем более ценные указания в качестве симптомов, как уже сказано, тела, его удачливости и неудачливости, его избытка, мощности, самообладания в объеме истории или, напротив, его заторможенности, усталости, истощенности, предчувствия конца, его воли к концу. Я все еще жду, что когда-нибудь появится философский врач в исключительном смысле слова — способный проследить проблему общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, — врач, обладающий мужеством обострить до крайности мое подозрение и рискнуть на следующее положение: во всяком философствовании дело шло доньше вовсе не об “истине”, а о чем-то другом, скажем о здоровье, будущности, росте, силе, жизни.

3

Вы догадываетесь, что я не без благодарности хочу распрощаться с временем тяжелой хвори, выгоды которой еще и по сей день не оскудели для меня: равным образом догадываетесь вы и о том, что мне достаточно хорошо известны преимущества, которыми я при моем шатком здоровье наделен в сравнении со всякими мужланами духа. Философ, прошедший и все еще проходящий сквозь множество здоровий, прошел сквозь столько же философий: он и не может поступать иначе, как всякий раз перелагая свое состояние в духовнейшую форму и даль, — это искусство трансфигурации и есть собственно философия. Мы, философы, не вольны проводить черту между душой и телом, как это делает народ, еще менее вольны мы проводить черту между душой и духом. Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно установленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок. Жить — значит для нас постоянно превращать все, что нас составляет, в свет и пламя, а также все, с чем мы соприкасаемся, — мы и не можем иначе. Что же касается болезни, разве мы в силах удержаться от вопроса, можем ли мы вообще обойтись без нее? Только великое страдание есть последний освободитель духа, как наставник в великом подозрении, которое из всякого У делает Х, подлинное, действительное Х”, т. е. предпоследнюю букву перед последней... Только великое страдание, то долгое, медленное страдание, которое делает свое дело, никуда не торопясь, в котором нас сжигают как бы на сырых дровах, вынуждает нас, философов, прогрузиться в нашу последнюю глубину и отбросить всякое доверие, все добродушное, заволакивающее, кроткое, среднее, во что мы, быть может, до этого вложили нашу человечность. Я сомневаюсь, чтобы такое страдание “улучшило”, но я знаю, что оно углубляет нас. Все равно, учимся ли мы противопоставлять ему нашу гордость, нашу насмешку, силу нашей воли, уподобляясь индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, вознаграждает себя по отношению к своему истязателю злобой своего языка; все равно, отступаем ли мы перед страданием в этом восточное Ничто — его называют Нирваной, — в немую, оцепенелую, глухую покорность, самозабвение, самоугасание, — из таких долгих опасных упражнений в господстве над собою выходишь другим человеком, с большим количеством вопросительных знаков, прежде всего с волей спрашивать впредь больше, глубже, строже, тверже, злее, тише, чем спрашивали до сих пор. Доверие к жизни исчезло; сама жизнь стала проблемой. — Пусть не думают, впрочем, что непременно становишься от этого

сычом! Даже любовь к жизни еще возможна — только любишь иначе. Это любовь к женщине, которая вызывает в нас сомнения... Но прелесть всего проблематичного, ликование иксом у таких более духовных, более одухотворенных людей столь велика, что это ликование, словно светлый жар, временами захлестывает поверх всяческой потребности в проблематичном, поверх всяческой опасности ненадежного, даже поверх ревности любящего. Нам ведомо новое счастье...

4

Наконец, чтобы не умолчать о самом существенном: из таких пропастей, из такой тяжелой хвори, также из хвори тяжкого подозрения, возвращаешься новорожденным, со сброшенной кожей, более чувствительным к щекотке, более злобным, с более истонченным вкусом к радости, с более нежным языком для всех хороших вещей, с более веселыми чувствами, со второй, более опасной невинностью в радости, одновременно более ребячливым и во сто крат более рафинированным, чем был когда-нибудь до этого. О, как противно теперь тебе наслаждение, грубое, тупое, смуглое наслаждение, как его обычно понимают сами наслаждающиеся, наши “образованные”, наши богатые и правящие! С какой злобой внемлем мы теперь той оглушительной ярмарочной шумихе, в которой “образованный человек” и обитатель большого города нынче позволяет насиловать себя искусством, книгой и музыкой во имя “духовных наслаждений”, с помощью духовных напитков! Как режет нам теперь слух театральные крики страсти, как чужд стал нашему вкусу весь романтический разгул и неразбериха чувств, которую любит образованная чернь, вместе с ее стремлениями к возвышенному, при поднятому, взбалмошному! Нет, если мы, выздоравливающие, еще нуждаемся в искусстве, то это другое искусство — насмешливое, легкое, летучее, божественно безнаказанное, божественно искусное искусство, которое, подобно светлему пламени, возносится в безоблачное небо! Прежде всего: искусство для художников, только для художников! Мы после этого лучше понимаем, что для этого прежде всего нужно: веселость, всякая веселость, друзья мои! даже в качестве художника — я хотел бы это доказать. Мы теперь знаем кое-что слишком хорошо, мы, знающие; о, как мы теперь учимся хорошо забывать, хорошо не слишком-знать, как художники! И что касается нашего будущего, нас вряд ли найдут снова на стезях тех египетских юношей, которые ночами проникают в храмы, обнимают статуи и во что бы то ни стало хотят разоблачить, раскрыть, выставить напоказ все, что не без изрядных на то оснований держится сокрытым. Нет, этот дурной вкус, эта воля к истине, к “истине любой ценой”. Это юношеское окаянство в любви к истине — опротивели нам вконец: мы слишком опытные, слишком серьезные, слишком веселы, слишком прожжены, слишком глубоки для этого... Мы больше не верим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покрывало; мы достаточно жили, чтобы верить этому. Теперь для нас это дело приличия — не все видеть обнаженным, не при всем присутствовать, не все хотеть пони мать и “знать”. “Правда ли, что боженька находится везде? — спросила маленькая девочка свою мать. — Но я нахожу это неприличным” — намек философам! Следовало бы больше уважать стыд, с которым природа спряталась за загадками и пестрыми неизвестностями. Быть может, истина — женщина, имеющая основания не позволять подсматривать своих оснований? Быть может, ее имя, говоря по-гречески, Баубо?.. О, эти греки! Они умели-таки жить; для этого нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии! Эти греки были поверхностными — из глубины! И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа, взобравшиеся на самую высокую и самую опасную вершину современной мысли и осмотревшие себя оттуда, посмотревшие оттуда вниз? Не являемся ли мы именно в этом — греками? Поклонниками форм, звуков, слов? Именно поэтому — художниками?

Рута у Генуи,
осенью 1886 года

ШУТКА, ХИТРОСТЬ И МЕСТЬ

Прелюдия в немецких рифмах

1

Приглашение

Не угодно ли, гурманы,
Яств моих отведасть пряный
Вкус, усладу и изыск!
Вам еще? Тогда закатим
Старых семь моих куснятин
В семикратно новый риск.

2

Мое счастье

Когда искать не стало сил,
Я за находки взялся.
Когда мне ветер путь закрыл,
Я всем ветрам отдался.

3

Неустршимый

Рой поглубже, где стоишь!
Там первопричина!
Пусть кричат невежи лишь:
"Глубже — чертовщина!"

4

Диалог

А. Был я болен? Исцелился?
Мой рассудок помутился!
Что за врач меня лечил?
Б. Верю я — ты исцелился:
Тот здоров, кто все забыл.

5

Добродетельным

И добродетели наши должны иметь легкие ноги,
Словно Гомера стихи, приходить и тотчас
уходить!

6

Светский ум

Не стой среди равнины
И не тянись в эфир!
Как раз посередине
Прекрасен этот мир.

7

Vademecum — Vadetecum

Тебя пленяет говор мой,
Ты по пятам идешь за мной?
Иди-ка лучше за собой: —
И будешь — тише! тише! — мой!

8

При третьей смене кожи

Уже пуды переварив
Земли и кожу скинув,
Змея во мне — один порыв

К земле прильнуть и сгннуть.
Уже ползу я под травой
Голодным гибким следом,
Чтоб есть змеиный хлеб земной,
Тебя, земля, поедом!

9

Мои розы

Да! Я счастья расточитель,
Счастья благостный даритель!
Эти розы — ваши... рвите!
Только прежде вам придется
На колючки напороться,
Больно-больно уколется!
Ибо счастье — любит слезы!
Ибо счастье — любит козни! —
Ну, так рвите эти розы!

10

Высокомер

Вечно валит все и бьет
И сливет высокомером.
Кто из чаши полной пьет,
Тот всегда и льет, и бьет, —
Но вину, как прежде, верен.

11

Пословица говорит

Грубо-нежно, пошло-редко,
Грязно-чисто, тупо-метко,
Глупый с умным — та же клетка.
Всем этим быть хочу и я:
Змея, и голубь, и свинья!

12

Любителю света

Когда с жары и в мыслях дребедень,
Беги за солнцем, ну хотя бы в тень!

13

Танцору

Гладкий лед —
Райский грот,
Если танец твой — полет.

14

Бравый

Лучше враг из цельного куска,

Чем друг, приклеенный слегка!

15

Ржавчина

Нужна и ржавчина: когда, как бритва, нож,
Ворчат всегда: “Уж эта молодежь!”

16

Наверх

“Как лучше всего мне на гору взойти?” —
“Взбирайся наверх и не думай в пути!”

17

Вердикт насильника

Не проси! Оставь стенанья!
Брать всегда — твое призванье!

18

Скудные души

От скудных душ меня бросает в дрожь:
В них ни добра, ни зла — на грош.

19

Обольститель поневоле

Стрельнул, не целясь, словом он пустым,
Глядь, женщина упала перед ним.

20

На смекалку

Двойная боль не столь уж невтерпеж,
Как просто боль: ну, как? ты не рискнешь?

21

Против чванства

Не раздувайся слишком вширь:
Кольнут — и лопнешь, как пузырь.

22

Мужчина и женщина

“Похить ее, ту, что тебя чарует!”
Так поступает он: она — ворует.

23

Интерпретация

Толкуя сам себя, я сам себе не в толк,
Во мне толмач давно уж приумолк.
Но кто ступает собственной тропой,
Тот к свету ясному несет и образ мой.

24

Лекарство для пессимиста

Тебе бы хныкать все да ныть,
Все те же старые причуды:
От несваренья и простуды
Ворчать, злословить и скулить.
Мой друг, чтоб мир переварить
Во всех его опасных блюдах,
Решись, ты должен вмиг и чудом
Одну лишь жабу проглотить.

25

Просьба

Я в многих людях знаю толк,
И лишь себя узнать не смог!
К глазам своим стою впритык,
Не отдаваясь ни на миг,
Коль не хочу с собой разлада,
Мне от себя подальше надо.
Хоть не настолько, как мой враг,
Ближайший друг далек — и как!
Меж нами точка, где мы братья!
О чем прошу я, угадайте?

26

Моя суровость

Я по ступенькам этим должен
Пройти, но вы всегда о том же:
“Ты что, за камень принял нас?”
Нужны ступеньки мне, но кто же
Захочет ими быть из вас?

27

Странник

“Уж нет пути! Вокруг зияет бездна
Ты сам хотел того! Небезвозмездно?
Смелее, странник! Здесь или нигде!
Погибнешь ты, подумав о беде.

28

Утешение новичкам

Вот малыш, а рядом свиньи,
Пальцы ног ему свело!

Весь от слез и всхлипов синий,
Плюхается, как назло.
Не робейте! Близки сроки,
Быть ему и плясуном!
Лишь бы встал на обе ноги,
Ну а там — хоть кувырком.

29

Эгоизм звезд

Когда, как круглый ролик, я
Вращалась бы не для себя,
Как я смогла б, не вспыхнув ярко,
Бежать за этим солнцем жарким?

30

Ближний

Ближнего близко нельзя подпускать:
Взять бы его да подальше убрать!
Будет тогда он звездой мне сиять!

31

Переодетый святой

Силясь скрыть избранность Божью,
Корчишь чертову ты рожу
И кощунствуешь с лихвой. Дьявол вылитый! И все же
Из-под век глядит святой!

32

Несвободный

А. Стоит и внемлет он: ни слова.
Какой-то шум ему все снова
Пронзает душу до костей.
Б. Как тот, кто был хоть раз закован,
Он слышит всюду — лязг цепей.

33

Одинокий

Мне чужды и ведомый, и водитель.
Послушник? Нет! Но нет и — повелитель!
Не страшен тот, кто сам себе не страшен:
А страх и есть над судьбами властитель.
Я и себе не склонен быть — водитель!
Люблю я, словно зверь, искать укрытий,
Найти себе пустынную обитель,
Блуждать в себе мечтательно и сладко
И издали манить себя загадкой,
Чтоб был себе и сам я — соблазнитель.

34

Seneca et hoc genus omne

Все пишет он свой нестерпимо
Мудрый вздор в угаре,
Как будто *primum scribere*,
Deinde philosophari.

35

Лед

Да! Готовлю я и лед:
Лед полезен для сваренья!
И при вашем несваренье
Все глотать бы вам мой лед!

36

Юношеские сочинения

Вся, включая даже крохи,
Мудрость мне звучала в них!
А теперь — глухие вздохи,
Только ахи, только охи
Слышу юных лет своих.

37

Осторожность

Ты едешь? Я в напутствие одно сказать могу:
При всем своем уме, будь вдвое начеку!
Тебя своим восторгом задушат там они,
Фанатики, — затем, что просто неумны!

38

Набожный говорит

Бог любит нас, как наш создатель! —
“Но Бог, — так вы, — был нами создан!”
Тогда ответьте, Бога ради,
Какой же, к черту, созидатель
Не любит то, что сам он создал?

39

Летом

Мы в поте нашего лица
Должны есть хлеб? Но потный —
Твердят врачи нам без конца —
Ест хлеб свой неохотно.
Созвездье Пса уже с крыльца
Нам просветляет души:
Мы в поте нашего лица
Бокал вина осушим!

40

Без зависти

Он чтим за то, что зависти лишен?
Но к вашим почестям бесчувствен он;
Его орлиный взор для далей создан,
Он вас не зрит! — он видит звезды, звезды!

41

Гераклитизм

Все земное счастье,
Други, лишь в борьбе!
Порох — вот причастье
К дружбе и судьбе!
Триедины други:
С недругом равны,
Братья, где недуги,
В гибели — вольны!

42

Принцип слишком щепетильных

Лучше уж на цыпочках,
Чем на четвереньках!
Лучше через ситечко,
Чем вразлет о стенку!

43

Наставление

Ты ищешь славы? в добрый час!
Так знай же вместе,
Что предстоит тебе отказ
От чести!

44

Основательный

Философ я? Когда бы так! —
Я просто тучен — весом!
И вечно бухаюсь впросак
На основание весь я!

45

Навсегда

“Мне нынче прок прийти сюда”, —
Сказал, а прибыл навсегда.
И толки откликом гудят:
“Ты всякий раз да невпопад!”

46

Суждения усталых

Ругая солнце в истощении,
В деревьях ценят только — тени!

47

Нисхождение

“Он падает!” — на смех вам и на радость;
Но падает он — к вам, в ваш жалкий рой!
Ему его блаженство стало в тягость,
И свет его влечется вашей тьмой.

48

Против законов

Моченым шнуром вновь и вновь
Стянул мне горло шум часов;
Мерцанье звезд, петуший крик,
И свет, и тень — исчезли вмиг,
И все, что знал я, стало вдруг
Глухой, немой, ослепший круг —
Во мне остался мир без слов
Под шум закона и часов.

49

Мудрец говорит

Чужой и все же нужный этим людям,
То солнцем, то грозой веду свой путь я —
И вечно недоступный людям!

50

Потерявший голову

Она теперь умна — вы скажете, сама?
Мужчину одного свела с ума.
И голова его, отдавшись этой хляби,
Пошла к чертям — да нет же! нет же! к бабе!

51

Благочестивое желание

“Вот бы жестом слаженным
Все ключи исчезли
И в любые скважины
Лишь отмычки лезли!”
Так вот, по привычке,
Мыслят все — отмычки.

52

Писать ногою

Рука рукою, но легка
В соавторстве мне и нога.

И вот бежит, не бег, а свист,
То через луг, то через лист.

53

“Человеческое, слишком человеческое”. Книга

Печально робкая, когда глядишь назад,
Когда вперед, доверья полн твой взгляд:
О, птица, кто ты? я назвать тебя бессилен:
Орел иль баловень Минервы фи-фи-филин?

54

Моему читателю

Хороших челюстей и доброго желудка
Тебе желаю я!
Когда от книги сей тебе не станет жутко,
Тогда со мною переваришь и себя!

55

Художник-реалист

“Во всем природе верность сохранять!” —
Таки во всем? Да, но с чего начать?
Природа — бесконечность и искуc! —
Он, наконец, на свой рисует вкус,
И, значит, то, что может срисовать!

56

Тщеславие поэта

Дай мне клею, я из мысли
Что угодно получу!
Рифмы парные осмыслить
Не любому по плечу!

57

Избирательный вкус

Если б дали, не мешая,
Выбор сделать мне скорей,
Я б отдал середку рая
За местечко у дверей.

58

Нос крючком

Упрямо вперся в землю нос
Ноздрею вздутой, он дорос
И до тебя, гордец, что смог
Стать носорогом минус рог!
Их не разнимешь и силком,
Прямую гордость, нос крючком.

59

Перо царапает

Перо царапает: вот черт!
Одно проклятье — эти кляксы! —
И лист бумаги распростерт,
Как будто весь измазан ваксой.
Но даже так, с какой душой
Перо за мыслью поспевает!
Хоть и неясен почерк мой —
Пустое. Кто его читает?

60

Высшие люди

Хвала идущему все выше!
Но тот, другой идет все ниже!
Он и хвалы самой превыше,
Он дан нам свыше!

61

Скептик говорит

Уже полжизни на часах,
Душа сдвигается со стрелкой!
Как долго ей еще впотьмах
Блуждать и биться дрожью мелкой?
Уже полжизни на часах:
И каждый час, как недуг, длинный!
Что ищешь ты? Зачем же? Ах,
Причину этой вот причины!

62

Ессе Номо

Мне ль не знать, откуда сам я?
Ненасытный, словно пламя,
Сам собой охвачен весь.
Свет есть все, что я хватаю,
Уголь все, что отпускаю:
Пламя — пламя я и есмь!

63

Звездная мораль

В твоей провиденной судьбе,
Звезда, что этот мрак тебе?
Стряхни блаженно цепь времен,
Как чуждый и убогий сон.
Иным мирам горит твой путь,
И ты о жалости забудь!
Твой долг единый: чистой будь!

ПЕРВАЯ КНИГА

Учителя о цели существования.

Каким бы взглядом, добрым или злым, ни смотрел я на людей, я нахожу их всегда поглощенными одной задачей, всех и каждого в отдельности: делать то, что способствует сохранению рода человеческого. И вовсе не из чувства любви к этому роду, а просто потому, что в них нет ничего, что было бы старше, сильнее, беспощаднее, неопреодолимее этого инстинкта, — ибо инстинкт этот как раз и есть сущность нашей породы и нашего стада. И хотя люди с присущей им близорукостью, доставляющей на пять шагов, довольно быстро привыкают тщательно делить своих ближних на полезных и вредных, добрых и злых, все-таки, беря в больших масштабах и по более длительному размышлению о целом, становишься недоверчивым к этой тщательности и этому разделению и вконец утверждаешься в своем сомнении. Даже вреднейший человек есть, быть может, все еще полезнейший в том, что касается сохранения рода, ибо он поддерживает в себе или, посредством своего воздействия, в других влечения, без которых человечество давно ослабло бы и обленилось. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым принадлежат к удивительной экономии сохранения рода, разумеется дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор убедительным образом сохраняла наш род. Я и не знаю, можешь ли ты, милый мой сородич и ближний, вообще жить в ущерб роду, стало быть, “неразумно” и “дурно”; то, что могло бы повредить роду, пожалуй, вымерло уже много тысячелетий назад и принадлежит теперь к невозможным даже для самого Бога вещам. Отдайся лучшим твоим или худшим влечениям и прежде всего погибни! — в обоих случаях ты, по-видимому, окажешься в некотором смысле все еще покровителем и благодетелем человечества и сможешь на основании этого иметь своих хвалителей — и равным образом пересмешников! Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы в полной мере высмеять тебя, отдельного человека, даже в лучших твоих качествах, кто смог бы в достаточной для тебя мере и сообразно действительности проникнуться твоим безграничным мушиным и лягушачьим убожеством! Смеяться над самим собой так, как следовало бы смеяться, чтобы высмеяться по всей правде, — для этого до сих пор лучшим людям недоставало чувства правды, а одареннейшим гениальности! Быть может, и у смеха есть еще будущее! Оно наступит тогда, когда положение “род есть все, некто есть всегда никто” станет плотью и кровью людей, и каждому в любое время будет открыт доступ к этому последнему освобождению и безответственности. Тогда, быть может, смех соединится с мудростью, быть может, из всех наук останется лишь “веселая наука”. Нынче дело обстоит еще совершенно иначе, нынче комедия существования не “осознала” еще себя самое — нынче царит все еще время трагедии, время нравоучений и религий. Что означает непрерывно новое появление этих основателей моральных учений и религий, этих зачинщиков борьбы за нравственные оценки, этих учителей угрызений совести и религиозных войн? Что означают эти герои на этой сцене? — ибо до сих пор и не было иных героев, а все прочее, лишь временами мелькающее и выпирающее, служило всегда лишь подспорьем этих героев, все равно, в качестве ли технического оборудования сцены и кулис или в роли доверенных лиц и камердинеров. (Поэты, например, всегда были камердинерами какой-нибудь морали.) — Само собой разумеется, что и эти трагики работают в интересах рода, хотя бы им при этом и мнилось, что работают они в интересах Бога и как посланцы Бога. И они способствуют жизни рода, способствуя вере в жизнь. “Жить стоит, — так восклицает каждый из них, — она что-нибудь да значит, эта жизнь, жизнь имеет что-то за собою, под собою, учтите это!” То влечение, которое в равной мере господствует в самых высоких и самых пошлых людях, влечение к сохранению рода, выступает время от времени в качестве разума и духовной страсти; тогда оно окружает себя блистательной свитой оснований и изо всех сил тщится предать забвению, что оно является, по сути, влечением, инстинктом, глупостью, беспочвенностью. Жизнь должна быть любима, так как! Человек должен быть полезным себе и своему ближнему, так как! И как бы еще ни назывались ныне и присно все эти “должен” и “так как”! Для того, чтобы происходящее по необходимости и всегда, само по себе и без всякой цели отныне казалось целеустроенным и светило человеку, как разум и последняя заповедь, — для этого выступает этический наставник в качестве учителя о “цели существования”; для этого изобретает он второе и иное существование и с помощью своей старой механики снимает это старое будничное существование с его старых будничных петель. Да! Он отнюдь не хочет, чтобы мы смеялись над существованием ни над самими собой — ни над ним самим; для него некто всегда есть некто, нечто первое и последнее и неслыханное, для него не существует никакого рода, никаких сумм, никаких нулей. Как бы глупы и химеричны ни были его вымыслы и оценки, как бы ни недооценивал он хода при родных событий и ни отрицал его условий — а все этики были до сих пор настолько глупы и противоестественны, что от каждой из них человечество сгнуло бы, овладей они человечеством, — тем не менее! всякий раз, когда “герой” вступал на подмостки, достигалось нечто новое, до жути противоположное смеху, то глубокое потрясение множества индивидуумов при мысли: “Да жить стоит! Да, и я стою того, чтобы жить!” — жизнь и я и ты и все мы вместе снова на некоторое время становились себе интересными. — Нельзя отрицать, что до сих пор над каждым из этих великих учителей цели надолго воцарялись и смех, и разум, и природа: короткая трагедия в конце концов переходила всегда в вечную комедию существования, и “волны несметного смеха” — говоря вместе с Эсхилом — должны еще разразиться над величайшими из названных трагиков. Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей о цели существования в целом изменило человеческую природу — теперь у нее стало одной

потребностью больше, именно, потребностью в непрерывно новом появлении таких учителей и учений о “цели”. Человек понемногу стал фантастическим животным, которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни! без веры в разум, присущий жизни! И снова время от времени будет человеческий род постановлять: “есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться!” А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому: “не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием принадлежит к числу необходимых средств сохранения рода!” — И следовательно! Следовательно! Следовательно! О, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? И у нас есть свое время!

2

Интеллектуальная совесть.

Я постоянно прихожу к одному и тому же заключению и всякий раз наново противлюсь ему, я не хочу в него верить, хотя и осязаю его как бы руками: подавляющему большинству недостает интеллектуальной совести; мне даже часто кажется, что тот, кто притязает на нее, и в самых населенных городах пребывает одиноким, как в пустыне. Каждый смотрит на тебя чужими глазами и продолжает орудовать своими весами, называя это хорошим, а то плохим; ни у кого не проступит на лице краска стыда, когда ты даешь ему понять, что гири эти не полновесны, — никто и не вознегодует на тебя: возможно, над твоим сомнением просто посмеются. Я хочу сказать: подавляющее большинство не считает постыдным верить в то или другое и жить сообразно этой вере, не отдавая себе заведомо отчета в последних и достовернейших доводах за и против, даже не утруждая себя поиском таких доводов, — самые одаренные мужчины и самые благородные женщины принадлежат все еще к этому “подавляющему большинству”. Что, однако, значат для меня добросердечие, утонченность и гений, если человек, обладающий этими добродетелями, позволяет себе вялость чувств в мнениях и суждениях, если взыскание достоверности не является для него внутренней страстью и глубочайшей потребностью — как нечто такое, что отделяет высших людей от низших! Я подмечал у иных благочестивых людей ненависть к разуму и был им за это признателен: по крайней мере здесь выдавала себя еще хоть злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этой *regum concordia discors*, среди всей чудесной неопределенности и многосмысленности существования и не вопрошать, не трепетать от страсти и удовольствия самого вопрошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а лишь вяло, пожалуй, над ним потешаться — вот что ощущаю я постыдным, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каждом человеке: какое-то сумасбродство убеждает меня все снова и снова, что каждый человек, будучи человеком, испытывает его. Это и есть мой род несправедливости.

3

Благородное и пошлое.

Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: “наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать” — они питают подозрение к благородному, как если бы оно окольными путями искало себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз. “Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше! С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума” — так думают они и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что она неизбежно блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам — такова ее мудрость и ее самолюбие. В сравнении с нею высшая натура оказывается менее разумной, ибо благородный, великодушный, самоотверженный уступает на деле собственным влечениям и в лучшие свои мгновения дает разуму передышку. Зверь, охраняющий с опасностью для жизни своих детенышей или следующий во время течки за самкою даже на смерть, не думает об опасности и смерти; его ум равным образом делает передышку, ибо удовольствие, возбуждаемое в нем его приплодом или самкою, и боязнь лишиться этого удовольствия в полной мере владеют им; подобно благородному и великодушному человеку, он делается глупее прежнего. Чувства удовольствия и неудовольствия здесь столь сильны, что интеллект в их присутствии должен замолкнуть либо пойти к ним в услужение: тогда у такого человека сердце переходит в голову, и это называется отныне “страстью”. (Конечно, временами выступает и нечто противоположное, как бы “страсть наизнанку”, к примеру, у Фонтенеля, которому кто-то сказал однажды, положив руку на сердце: “То, что у Вас тут есть, мой дорогой, это тоже мозг”.) Неразумие или косоразумие страсти и оказывается тем, что пошлый презирает в благородном, в особенности когда оно обращено на объекты, ценность которых кажется ему совершенно фантастичной и произвольной. Он

злится на того, кто не в силах совладеть со страстями брюха, но ему все же понятна прелесть, которая здесь тиранит; чего он не понимает, так это, к примеру, способности поставить на карту свое здоровье и честь во исполнение познавательной страсти. Вкус высшей природы обращается на исключения, на вещи, которые по обыкновению никого не трогают и выглядят лишенными всяческой сладости; высшей природе присуща своеобразная мера стоимости. При этом большей частью она и не предполагает, что в идиосинкразии ее вкуса наличествует эта самая своеобразная мера стоимости; скорее, она принимает собственные представления о ценности и никчемности за общезначимые и упирается тем самым в непонятное и непрактичное. Крайне редкий случай, когда высшая природа в такой степени обладает разумом, что понимает обывателей и обращается с ними, как они есть; в большинстве случаев она верит в собственную страсть как в нечто неявно присущее всем людям, и именно эта вера исполняет ее пыла и красноречия. Если же и такие исключительные люди не чувствуют себя исключениями, как должно было им удаваться когда-либо понимать пошлые природы и достойным образом оценивать правило, исключениями из которого они являются! — и вот сами они разглагольствуют о глупости, негодности и нелепости человечества, изумляясь тому, сколь безумны судьбы мира и почему он не желает сознаться себе в том, что “ему нужно”. — Такова извечная несправедливость благородных.

4

Сохраняющее род.

Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспламеняли засыпающие страсти — всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, — они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов. Это делалось оружием, ниспровержением межевых знаков, чаще всего оскорблением благочестия, — но и новыми религиями и нравоучениями! Каждому учителю и проповеднику нового присуща та же “злость”, которая дискредитирует завоевателя, хотя она и обнаруживается более утонченно, без моментального перехода в мышечные реакции, и именно поэтому не столь дискредитирующим образом! Новое, однако, при всех обстоятельствах есть злое, нечто покоряющее, сияющее ниспровергнуть старые межевые знаки и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! Добрыми людьми во все времена оказываются те, кто поглубже зарывает старые мысли и удобряет ими плодородную ниву, — земледельцы духа. Но каждая земля в конце концов осваивается, и все снова и снова должен появляться лемех злого. — Нынче существует одно основательное лжеучение морали, особенно чествуемое в Англии: согласно этому учению, понятия “добро” и “зло” являются результатами опытных наблюдений над “целесообразным” и “нецелесообразным”; согласно ему, то, что называется “добрым”, содействует сохранению рода, а то, что называется “злым”, вредит ему. На деле, однако, злые влечения целесообразны, родоохранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, — лишь функция их различна.

5

Безусловные обязанности.

Все люди, которые испытывают нужду в наиболее сильных словах и звучаниях, в красноречивейших жестах и позах, чтобы вообще воздействовать, — революционные политики, социалисты, проповедники покаяния с христианством или без него, все те, для которых неприемлем всякий половинчатый успех, — все они говорят об “обязанностях”, и только об обязанностях, носящих безусловный характер, — без таковых они не имели бы никакого права на свой большой пафос: это отлично известно и им самим! Так, хватаются они за нравственные философии, проповедующие какой-нибудь категорический императив, или они принимают в себя толику религии, как это сделал, например, Мадзини. Поскольку им хочется внушить к себе безусловное доверие, им необходимо прежде всего безусловно доверять самим себе, на почве какой-нибудь последней непререкаемой и в себе возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они себя чувствуют и выставляют. Здесь мы имеем самых естественных и большей частью весьма влиятельных противников нравственного просвещения и скепсиса — но они встречаются редко. Напротив, очень обширный класс этих противников наличествует всюду, где интерес учит подчинению, в то время как репутация и честь, казалось бы, запрещают подчинение. Тот, кто чувствует себя обесчещенным при одной лишь мысли, что он является орудием в руках какого-либо правителя или какой-либо партии и секты, или даже денежной власти, и, будучи, к примеру, отпрыском старой гордой фамилии, тем не менее хочет или вынужден быть в своих собственных глазах и в глазах общественности этим орудием, тому необходимы патетические принципы, которые всякий раз можно иметь на кончике языка, — принципы безусловного долженствования, которым можно подчиняться, делая это напоказ, без всякого стыда. Любое более утонченное раболепие крепко держится за категорический императив и является смертельным врагом тех, кто силится отнять у долга его безусловный характер: этого требует у них приличие, и не только приличие.

Утрата достоинства.

Размышление утратило все свое достоинство формы; церемониал и торжественные жесты размышляющего человека сделались предметом насмешек, и теперь уже едва ли кто-либо вынес бы мудреца старого стиля. Мы мыслим слишком быстро, мимоходом, попутно, между всяческих дел и занятий, даже когда мыслим о самом серьезном; мы мало нуждаемся в подготовке, даже в покое: дело обстоит так, словно бы мы несли в голове безостановочно вращающуюся машину, продолжающую работать даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Некогда по каждому было видно, что он намеревался мыслить — это ведь являлось исключением! — что он хотел стать мудрее и выказывал готовность к какой-нибудь мысли: лица вытягивались как бы в молитвенном выражении, и замедлялся шаг; случалось, что часами останавливались на улице, когда “приходила” мысль, — на одной или на двух ногах. Так это больше “приличествовало делу”!

Нечто для трудолюбивых.

Кто нынче вознамерится посвятить себя изучению моральных вопросов, тому откроется неслыханное поприще для работы. Все виды страстей должны быть продуманы в розницу, прослежены в прогоне через эпохи; народы, большие и малые, весь их разум и все их оценки и разъяснения вещей выведены на свет Божий. До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости? Даже сравнительная история права или хотя бы только наказания полностью отсутствует до сих пор. Делались ли уже предметом исследования различные подразделения дня, следствия правильного распределения труда, празднеств и досуга? Известны ли моральные воздействия продуктов питания? Существует ли философия питания? (Уже постоянно возобновляемый шум за и против вегетарианства доказывает, что таковой философии покуда нет!) Собраны ли уже опытные наблюдения над совместной жизнью, например, наблюдения над монастырями? Описана ли уже диалектика брака и дружбы? Нравы ученых, торговцев, художников, ремесленников — нашли ли они уже своих мыслителей? А думать об этом предстоит так много! Разве уже исследовано окончательно все то, что люди рассматривали до сих пор “условия их существования”, и все разумное, страстное и суеверное в самом этом рассмотрении? Одно лишь наблюдение различного роста, который, в зависимости от различий морального климата, приобретали и могут еще приобретать человеческие влечения, предлагает колоссальную работу для трудолюбивейшего; понадобились бы целые поколения и при этом планомерно сотрудничающие поколения ученых, чтобы исчерпать здесь все точки зрения и материал. Аналогично обстоит дело и с доказательством оснований различных моральных климатов (“отчего здесь светит одно солнце морального принципа и критерия — а там другое?”). И вновь это оборачивается новой работой, устанавливающей ложность всех подобных оснований и всего существа прежних моральных суждений. Если допустить, что названные труды были бы осуществлены, тогда на передний план выступил бы наиболее щекотливый из всех вопросов: способна ли наука полагать цели поступкам, после того как она доказала, что она может отнимать и уничтожать таковые, — и тогда уместным оказалось бы экспериментирование, в котором всякий вид героизма мог бы получить удовлетворение, — затянувшееся на столетия экспериментирование, смогшее бы оставить в тени все великие свершения и самопожертвования бывшей истории. Наука покуда не выстроила еще своих циклопических построек; и этому настанет время!

Неосознанные добродетели.

Все свойства человека, признаваемые им, — в особенности, если он предполагает их явность и очевидность и для своего окружения, — подчиняются совершенно иным законам развития, чем те свойства, которые ему неизвестны или плохо известны и которые, вследствие их тонкости, скрыты от взгляда более утонченного наблюдателя и как бы прикрыты за кажущимся ничто. Так выглядит это в тонкой резьбе на чешуйках рептилий: было бы заблуждением предположить в них какое-либо украшение или оружие, ибо они видны лишь через микроскоп, стало быть, через искусственно усиленное зрение, отсутствующее у тех животных, для которых это могло бы означать нечто вроде украшения или оружия! Наши зримые моральные качества, в особенности те, которые мы считаем таковыми, идут своим путем, а вполне одноименные незримые качества, которые в наших отношениях с другими людьми не выглядят ни украшением, ни оружием, также идут своим путем, по-видимому, совершенно иным, — все с теми же линиями, тонкостями и резьбой, которые, пожалуй, могли бы доставить удовлетворение какому-нибудь божеству, обладающему божественным микроскопом. У нас, к примеру, есть свое прилежание, свое честолюбие, свое остроумие: весь мир знает об этом, — и, кроме того, у нас, вероятно, есть еще раз свое прилежание, свое честолюбие, свое остроумие: но для этих наших чешуй пресмыкающихся не изобретено еще микроскопа! — И здесь друзья инстинктивной нравственности скажут: “Браво! Он. По крайней мере, допускает возможность неосознанных добродетелей, — нам и этого довольно!” — О, вы, довольные!

Наши извержения.

Неисчислимые качества, усвоенные человечеством на ранних ступенях развития, но в столь слабой и зачаточной форме, что никому не удавалось воспринимать само это усвоение, выявляются внезапно, спустя длительное время, быть может, по прошествии столетий: в промежутке они и стали сильными и зрелыми. Некоторым эпохам, как и некоторым людям, по-видимому, совершенно недостает того или иного таланта, той или иной добродетели, но пусть тот, у кого есть время ждать, дождется только внуков и правнуков, — они уж вынесут на свет душевные глубины своих дедов, те самые глубины, о которых деды и знать не знали. Часто уж сын оказывается предателем своего отца: этот последний понимает себя самого лучше, с тех пор как у него есть сын. Во всех нас есть скрытые сады и насаждения, а если употребить другое сравнение, все мы — нарастающие вулканы, которые дожидаются часа своего извержения, — насколько, однако, близок или далек этот час, этого, конечно, никто не знает, даже сам “Господь Бог”.

Некий род атавизма.

Редких людей какого-либо времени я охотнее всего понимаю как внезапно появляющихся отпрысков прошедших культур и их сил: словно атавизм некоего народа и его нравов — в них и в самом деле есть еще нечто такое, что следовало бы понять! Теперь они выглядят чужими, редкими, необыкновенными, и тот, кто чувствует в себе эти силы, вынужден выхаживать, защищать, чтить, возвращать их вопреки противящемуся чужому миру; тогда он станет либо великим человеком, либо свихнувшимся чудаком, если только вообще не погибнет вовремя. Прежде эти редкие свойства были обыкновенным явлением и, стало быть, считались чем-то вполне обыденным: они никак не выделялись. Быть может, само наличие их требовалось им предполагалось; достичь с их помощью величия было невозможным уже по одному тому, что отсутствовала опасность стать с их помощью безумным и одиноким. Охранительные поколения и касты народа суть преимущественно те, в которых налицо такие отпрыски старых влечений, тогда как подобный атавизм едва ли еще возможен там, где налицо слишком быстрая смена рас, привычек, оценок. В развитии народов темп имеет то же значение, что и в музыке; в нашем случае абсолютно необходимо *Andante* развития, как темп страстного и неторопливого духа, — а таков именно дух консервативных поколений.

Сознание.

Сознательность представляет собою последнюю и позднейшую ступень развития органического и, следовательно, также и наиболее недоделанное и немощное в нем. Из сознательности происходят бесчисленные промахи, вследствие которых зверь, человек гибнет раньше времени — “сверх рока”, как говорит Гомер. Не будь смирительная рубашка инстинктов гораздо более могущественной, она не служила бы в целом регулятором: человечество должно было бы погибнуть от своих извращенных суждений и бредов наяву, от своей неосновательности и легковерия, короче, от своей сознательности; да, оно погибло бы, или, скорее, его бы давно уже не существовало! Прежде чем какая-либо функция образуется и достигает зрелости, она представляет собою опасность для организма: хорошо, если она на время как следует поработается! Так изредка поработается и сознательность — и не в последнюю очередь тем, что ею гордятся! Думают, что здесь и заключается сущность человека; устойчивое, вечное, последнее, изначальное в нем! Считают сознательность какой-то единожды данной величиной! Не признают ее роста, ее перебоев! Принимают ее за “единство организма”! — Эта жалкая переоценка и непонимание сознания приводит к весьма полезным последствиям, так как тем самым предотвращалось слишком скорое формирование его. Поскольку люди мнили себя сознательными, они прилагали мало усилий к тому, чтобы приобрести сознательность, — еще и теперь дело обстоит не иначе! Это все еще совершенно новая и впервые лишь предносящаяся взору, едва ли ясно различимая задача — органически усвоить знание и сделать его инстинктивным, — задача, открытая лишь тем, кто понял, что до сих пор нами органически усваивались лишь заблуждения и что вся наша сознательность покоится на заблуждениях!

О цели науки.

Как? Последняя цель науки в том, чтобы доставлять человеку как можно больше удовольствия и как можно меньше неудовольствия! А что, если удовольствие и неудовольствие так тесно связаны друг с другом, что тот, кто хочет иметь возможно больше первого, должен иметь возможно больше и второго, — что тот, кто хочет

преуспеть в “небесном восхищении”, должен быть готовым и к “смертной скорби”? И, пожалуй, так оно и есть! Стоики, по крайней мере, полагали, что так оно и есть, и были последовательны, когда стремились к возможно меньшему количеству удовольствий, дабы получить от жизни как можно меньше неудовольствий. (Когда произносили изречение: “Добродетельный — самый счастливый”, это было не только школьной вывеской для массы, но и казуистической тонкостью для утонченных.) И сегодня все еще вам дано на выбор: либо возможно меньше неудовольствия, короче, отсутствие страданий — в сущности, социалистам и политикам всех партий не следовало бы, по-честному, обещать своим людям большее, — либо возможно больше неудовольствия в качестве расплаты за избыток тонких и малоизведанных удовольствий и радостей! Если вы решитесь на первое, если вы вознамеритесь таким образом подавить и уменьшить страдания человека, ну, так вам придется подавить и уменьшить также и способность к наслаждениям. В самом деле, можно с помощью науки содействовать как одной, так и другой цели! Ее популярность, возможно, и по сей день вызвана ее способностью уничтожать наслаждения человека и делать его более холодным, более статуеобразным, более стоичным! Но она могла бы предстать и как великая даятельница страданий — и тогда, быть может, открылось бы одновременно и ее противодействие, ее чудовищная способность освещать новые звездные миры радостей!

13

К учению о чувстве власти.

Благодеянием и злодеянием упражняются в своей власти над другими — большего при этом и не желают! Злодеянием мы достигаем этого с теми, кому впервые должны дать почувствовать нашу власть, ибо страдание в этом отношении гораздо более впечатлительное средство, чем удовольствие: страдание всегда спрашивает о причине, тогда как удовольствие склонно оставаться при самом себе и не оглядываться. Благодеяние и благожелательность мы распространяем на тех, кто уже находится в какой-нибудь зависимости от нас (т. е. привык думать о нас, как о своей причине); мы желаем приумножить их власть оттого, что таким образом приумножаем свою собственную, или мы хотим показать им всю выгоду того, что значит — быть в нашей власти, — тогда они в большей мере довольствуются своим положением и с большей враждебностью и боевой готовностью относятся к врагам нашей власти. Приносим ли мыф при благо_ или злодеяниях какие-либо жертвы, это ничуть не изменяет значимости наших поступков; даже если мы отдаем этому свою жизнь, как мученик ради своей церкви, эта жертва приносится нашему стремлению к власти или с целью сохранения нашего чувства власти. Ибо тот, кто чувствует: “я обладаю истиной”, — какими владениями он не поспежит, дабы сохранить это ощущение! Чего только он не вышвырнет за борт, чтобы удержаться “наверху”, — т. е. над другими, лишенными “истины”! Разумеется, состояние, при котором мы причиняем зло, редко бывает столь приятным, столь беспримесно-приятным, как то, при котором мы делаем добро, — это означает, что нам все еще недостает власти, или выдает нашу досаду на этот недостаток; отсюда проистекают новые опасности и неопределенности в отношении нашей наличной власти, обволакивающие наш горизонт перспективами мести, насмешки, наказания, неудачи. Лишь для самых ненасытных сластолюбцев чувства власти может быть приятнее придавить строптивого печатью власти: для тех, кому тягостен и скучен вид уже поработанного (который, в качестве такового, и есть предмет благоволения). Все сводится к тому, как привыкли мы приправлять свою жизнь; это дело вкуса — какой именно прирост власти нам больше по душе: медленный или внезапный, надежный или рискованный и отчаянный — та или иная приправа ищется сообразно темпераменту. Легкая добыча кажется гордым натурам чем-то презренным, они испытывают наслаждение лишь при виде несломленных людей, которые могли бы стать им врагами, и равным образом при виде всех труднодостижимых сокровищ; к страждущему они часто бывают суровы, ибо он недостоин их стремления и гордости, — но тем обязательнее предстают они перед равными, борьба и состязание с которыми, при малейшем поводе, была бы для них во всяком случае почетна. В сладостном предчувствии этих перспектив привыкли люди рыцарского сословия к изысканной вежливости во взаимоотношениях. — Сострадание есть самое приятное чувство у тех, кто лишен гордости и всяких притязаний на великие завоевания: им легкая добыча — а таков и есть каждый страждущий — представляется чем-то восхитительным. Люди славят сострадание, как добродетель публичных женщин.

14

Все, что называется любовью.

Алчность и любовь: сколь различны наши ощущения при каждом из этих слов! — и все же они могли бы быть одним и тем же влечением, дважды названным: первый раз поносимым с точки зрения людей уже имущих, в которых влечение несколько приутихло и которые теперь боятся за свое “имущество”; второй раз с точки зрения неудовлетворенных, жаждущих, и посему прославляемым как нечто “хорошее”. Наша любовь к ближним — разве она не есть стремление к новой собственности? И равным образом наша любовь к знанию, к истине? и вообще всякое стремление к новинкам? Мы постепенно пресыщаемся старым, надежно сподручным и жадно тянемся к новому; даже прекраснейший ландшафт, среди которого мы проживаем три месяца, не уверен больше в нашей любви к нему, и какой-нибудь отдаленный берег дразнит уже нашу алчность: владение большей частью

делается ничтожнее от самого овладения. Наше наслаждение самими собой поддерживается таким образом, что оно непрерывно преобразует в нас самих нечто новое, — это как раз и называется обладанием. Пресытиться обладанием — значит пресытиться самим собою. (Можно страдать даже от излишка, и даже необузданная страсть к расточительству может присвоить себе почетное имя “любви”.) Когда мы видим кого-то страдающим, мы охотно пользуемся предоставившимся поводом овладеть им; это делает, например, благотворящий и сострадательный; и он называет пробудившуюся в нем похоть к новому обладанию “любовью”, испытывая при этом удовольствие, как при всяком новом манящем его завоевании. Но яснее всего выдает себя, как стремление к собственности, любовь полов: любящий хочет безусловного и единоличного обладания возжеленной особю, он хочет столь же безусловной власти над ее душою, как и над ее телом, он хочет один быть любимым и жить и властвовать в чужой душе как нечто высшее и достойнейшее желаний. Если возьмут в толк, что это и есть не что иное, как лишить весь мир некоего драгоценного имущества, счастья и наслаждения; если примут во внимание, что любящий только и стремится к оскудению и лишению всех прочих домогателей и хотел бы стать драконом своего золотого руна, как самый неосмотрительный и себялюбивый из всех “завоевателей” и обирал; если, наконец, сообразят, что самому любящему весь остальной мир предстает безразличным, водянистым, никчемным и что он готов принести любую жертву, нарушить любой порядок, оттеснить любые интересы, — то не перестанут удивляться, что эта дикая алчность и несправедливость половой любви прославлялась и обожествлялась во все времена — настолько, что из нее даже позаимствовали понятие самой любви в противоположность эгоизму, тогда как именно она, пожалуй, и является непосредственнейшим выражением эгоизма. Здесь, очевидно, творцами этого словоупотребления были неимущие и алчущие, — в них ведь во все времена не было недостатка. Те, кому в этой области было отпущено много обладания и насыщения, роняли, правда, временами словцо о “бешеном демоне”, как тот любезнейший и любимейший из афинян, Софокл; но Эрос всякий раз посмеивался над такими охальниками — они-то и были всегда его самопервейшими любимцами. — Правда, на земле еще встречается местами что-то вроде продолжения любви, при котором то корыстное стремление двух лиц друг к другу уступает место новому желанию и алчности, общей высшей жажде стоящих над ними идеалов: но кто знает эту любовь? Кто ее пережил? Ее настоящее имя — дружба..

15

Издали.

Эта гора придает всей местности, над которой она возвышается, особую очаровательность и значительность; сказав себе это в сотый раз, мы испытываем к ней столь неразумную благодарность, что и принимаем ее, виновницу этого очарования, за самое очаровательное место во всей этой местности, — и вот мы взбираемся на нее и испытываем разочарование. Внезапно и сама она и весь обстающий нас внизу ландшафт выглядят точно расколдованными; мы забыли, что иное величие, как и иная доброта, смотрится лишь на определенной дистанции, и конечно же снизу, не сверху, так только и действует оно. Может быть, ты знаешь людей в твоём окружении, которые и сами должны смотреть на себя лишь на определенном расстоянии, чтобы найти себя вообще сносными или притягательными и излучающими силу; самопознание им противопоказано.

16

Через тропинку.

Общаясь с людьми, которые стыдятся своих чувств, надо уметь притворяться; они испытывают внезапную ненависть к тому, кто уличает их в каком-то нежном или мечтательном и взволнованном чувстве, словно бы подсматривая их секреты. Если хотят оказать на них благотворное воздействие в такие мгновения, пусть рассмешат их или обронят какую-нибудь холодную злую шутку: их чувство остынет от этого, и они вновь овладеют собою. Я, впрочем, рассказываю мораль прежде самой истории. — Некогда мы были так близки друг другу, что, казалось, ничто уже не в силах было помешать нашей дружбе и нашему братству, и лишь одна узкая тропинка пролежала между нами. Как раз в тот момент, когда ты захотел вступить на нее, я спросил себя: “Ты хочешь перейти ко мне через тропинку?” — и тут тебе тотчас же расхотелось это: когда же я снова спросил тебя, ты уже погрузился в молчание. С тех пор горы и бурные потоки пролегли между нами, и все, что разделяет и отчуждает, и, если бы мы даже хотели подойти друг к другу, мы не смогли бы больше это сделать! Но, вспоминая нынче ту узкую тропинку, ты уже не находишь слов — только рыдания и удивление.

17

Мотивировать свою бедность.

Мы, конечно, не можем никаким фокусом превратить бедную добродетель в богатую и изобильную, но мы, пожалуй, можем превосходно истолковать ее бедность в терминах необходимости, так что ее вид не будет уже причинять нам боли, и мы не будем корчить из-за нее року полные упреков рожи. Так поступает умный садовник, который проводит скудную водичку своего сада через руку какой-нибудь нимфы и таким образом

мотивирует ее скудность: и кто только, подобно ему, не нуждается в нимфах!

18

Античная гордость.

Нам недостает античной окраски благородства, потому что в нашей душе отсутствует понятие об античном рабе. Грек благородного происхождения находил между высотой своего положения и самым низким положением такое чудовищное количество промежуточных ступеней и такое расстояние, что он едва ли мог отчетливо видеть раба: даже Платон не вполне уже видел его. Иное дело мы, привыкшие к учению о равенстве людей, хотя и не к самому равенству. Существо, не способное распоряжаться собою и лишенное всяческого досуга, несколько не выглядит в наших глазах чем-то презренным; в каждом из нас, быть может, есть слишком много такого рабства, сообразно условиям нашего общественного порядка и деятельности, которые существенным образом отличаются от порядка и деятельности древних. — Греческий философ проходил через жизнь с тайным чувством, что рабов гораздо больше, чем предполагают, — именно, что каждый человек есть раб, если он не философ; гордость распирала его, когда ему приходило в голову, что и могущественнейшие властители земли принадлежат к числу его рабов. И эта гордость чужда нам и невозможна для нас: даже как сравнение слово “раб” лишено для нас своей полной силы.

19

Зло.

Исследуйте жизнь лучших и плодотворнейших людей и народов и спросите себя, может ли дерево, которому суждено гордо прорасти ввысь, избежать дурной погоды и бурь, и не принадлежат ли неблагоприятное стечение обстоятельств и сопротивление извне, всякого рода ненависть, ревность, своекорыстие, недоверие, суровость, алчность и насилие неблагоприятствующим обстоятельствам, без которых едва ли возможен большой рост даже в добродетели? Яд, от которого гибнет слабая натура, есть для сильного усиление — и он даже не называет его ядом.

20

Достоинство глупости.

Еще несколько тысячелетий по пути последнего столетия! — и во всем, что делает человек, обнаружится высочайшая смышленность; но как раз тем самым смышленность и потеряет все свое достоинство. Тогда хоть и будет необходимым быть умным, но в столь обычном и общем смысле, что более благородный вкус воспримет эту необходимость как пошлость. И подобно тому как тирания истины и науки была бы в состоянии высоко поднять цены на ложь, так и тирания смышленности смогла бы вызвать новый вид благородного чувства. Быть благородным — будет, возможно, означать тогда: иметь в голове глупости.

21

Учителям самоотверженности.

Добродетели человека оцениваются положительно не с точки зрения действий, которые они оказывают на него самого, а с точки зрения действий, которые мы предполагаем в них для нас и для общества, — в восхвалении добродетелей с давних пор выказывали слишком мало “самоотверженности”, слишком мало “неэгоистичности”! Иначе должны были бы увидеть, что добродетели (скажем, прилежание, послушание, целомудрие, благочестие, справедливость) большей частью вредны для их обладателей, как влечения, которые слишком пылко и ненасытно господствуют в них и не позволяют разуму уравнивать себя другими влечениями. Если у тебя есть добродетель, действительная, цельная добродетель (а не одно лишь влечение к добродетели!), значит, ты — ее жертва! Но сосед именно поэтому хвалит твою добродетель! Хвалят прилежного, хотя он этим прилежанием вредит своему зрению или самобытности и свежести своего ума; чтут и жалеют юношу, который “надорвался на работе”, потому что судят следующим образом: “Для великого общественного целого потеря отдельных личностей, пусть даже лучших, есть небольшая жертва. Плохо, конечно, что эта жертва необходима. Но гораздо хуже, когда отдельная личность мыслит иначе и придает своему сохранению и развитию большую важность, чем своей работе на службе у общества!” Этому юношу, стало быть, жалеют не ради него самого, а потому, что смерть отняла у общества столь преданное и самоотверженное орудие — так называемого “честного человека”. Возможно, еще обратят внимание на то, что в интересах общества выгоднее было бы, если бы он трудился менее самоотверженно и дольше сохранил бы себя, — эту выгоду, разумеется, признают, однако считают более крупной и продолжительной ту другую выгоду, что жертва принесена и что настроение жертвенного животного еще раз наглядно подтвердилось. Собственно говоря, когда восхваляются добродетели, то этим восхваляется их свойство быть орудиями и еще это слепо властвующее в каждой добродетели влечение, не позволяющее

ограничивать себя рамками общей выгоды индивидуума, короче: то неразумие в добродетели, силою которого отдельное существо послушно превращается в функцию целого. Похвала добродетели есть похвала чему-то лично-вредному — похвала влечениям, отнимающим у человека его благороднейшее себялюбие и силу высшего надзора за самим собою. — Разумеется, в целях воспитания и прививания добродетельных навыков устраивают целый осмотр тех именно воздействий добродетели, где добродетель и личная выгода выглядят соединенными братскими узами, — и действительно, узы эти существуют! Например, слепо свирепствующее прилежание, эта типичная добродетель инструмента изображается как путь к богатству и почестям и как целительнейший яд против скуки и страстей; но при этом замалчивают его опасность, его крайнюю рискованность. Воспитание всегда действует следующим образом: оно тщится рядом приманок и выгод настроить отдельную личность на такой образ мыслей и действий, который, став привычкой, влечением и счастьем, царит в ней и над ней вопреки ее последней выгоде, но “ко всеобщему благу”. Как часто вижу я, что слепое неистовое прилежание хоть и приносит богатства и почести, но в то же время отнимает у органов ту самую утонченность, благодаря которой только и можно было бы наслаждаться богатством и почестями, равным образом что это основное средство против скуки и страстей в то же время притупляет чувства и заставляет дух упрямиться новым соблазнам. (Наиболее прилежное из всех поколений — наше поколение — не способно употребить свое большое прилежание и свои деньги во что-нибудь иное, чем в приобретение новых денег и нового прилежания: нынче требуется больше гения для расточительства, чем для стяжательства! — Ну и что же, ведь у нас будут “внуки”!) Если воспитание достигает своей цели, то каждая добродетель отдельной личности оборачивается общественной пользой и частным убытком, в смысле высшей частной цели, — вероятно, какой-нибудь духовно-чувственной чахлостью или даже преждевременной гибелью: пусть с этой точки зрения обратят внимание на следующий ряд добродетелей: послушание, целомудрие, благочестие, справедливость. Похвала самоотверженному, жертвующему собой, добродетельному — стало быть, тому, кто обращает всю свою силу и разум не на собственное сохранение, развитие, уровень, преуспевание, расширение власти, а не то, чтобы относиться к самому себе скромно и необдуманно, быть может, даже равнодушно или иронично, — эта похвала возникла во всяком случае не из духа самоотверженности! “Ближний” восхваляет самоотверженность, так как имеет от нее свою выгоду! Если бы ближний сам мыслил самоотверженно, он отклонил бы этот упадок сил, этот вред ради себя же самого, он боролся бы с возникновением этих склонностей в себе и прежде всего засвидетельствовал бы свою самоотверженность тем именно, что назвал бы ее чем-то нехорошим! — Здесь проступает основное противоречие той морали, которая нынче в таком большом почете: мотивы этой морали противоречат ее принципу! То, чем эта мораль хочет доказать себя, она опровергает сама своим критерием морального! Положение “ты должен отречься от самого себя и принести себя в жертву” должно было бы, во избежание конфликта с собственной моралью, быть введено в силу таким существом, которое при этом отрелось бы от своей выгоды и, быть может, обрело бы собственную гибель в акте требуемого самопожертвования личности. Но куда ближний (или общество) рекомендует альтруизм ради пользы, в силе остается прямо противоположное положение: “ты должен искать себе выгоды, даже за счет всех других”, стало быть, здесь на одном дыхании проповедуется “ты должен” и “ты не должен”.

L'ordre du jour pour le roi.

Начинается день: начнем и мы устраивать на этот день дела и празднества нашего всемилостивейшего повелителя, который еще изволит почивать. Его Величество сегодня будет в дурном настроении: поостережемся назвать его дурным; не будем говорить о настроении — постараемся-ка сегодня устраивать дела торжественнее, а празднества праздничнее, чем когда-либо. Его Величество, возможно, даже болен: мы поднесем ему к завтраку последнюю хорошую новость вчерашнего вечера, прибытие господина Монтеня, который так приятно умеет шутить над своей болезнью — он страдает подагрой. Мы примем несколько персон (персон! — что сказала бы та старая надувшаяся лягушка, которая будет присутствовать среди них, услышь она это слово! “Я вовсе не персоне, — сказала бы она, — я всегда сама вещь”) — и прием будет длиться дольше, чем хотелось бы кому-либо: достаточное основание, чтобы рассказать о том поэте, который написал на своих дверях: “Кто войдет сюда, окажет мне честь; кто этого не сделает, доставит мне удовольствие”. — Поистине это называется вежливо сказать невежливость! И, пожалуй, этот поэт по-своему имел полное право быть невежливым: говорят, что его стихи были лучше, чем сам кузнец рифм. Что ж, он мог сочинить еще много новых и хотел бы возможности уединиться от мира: таков именно смысл его учтивой неучтивости! Напротив, повелитель всегда более достоин, чем его “стихи”, даже если — однако что мы делаем? Мы заболтались, а весь двор считает, что мы уже работаем и ломаем себе головы: ни в одном окне не зажглось огня раньше, чем в нашем. — Чу! Не колокол ли прозвонил? К черту! Начинается день и танец, а мы не знаем его туров! Итак, придется импровизировать — весь мир импровизирует свой день. Сделаем однажды и мы это, как весь мир! — И тут исчез мой причудливый утренний сон, вероятно, от резкого боя башенных часов, которые только что со всей присущей им важностью возвестили начало пятого часа. Мне кажется, на этот раз бог сновидений захотел потешиться над моими привычками — это моя привычка начинать день так, что я силюсь устроить его аккуратнее и сноснее для себя, и, может статься, я

часто делал это слишком официально, слишком по-княжески.

Признаки коррупции.

Обратите внимание на признаки тех время от времени неизбежных состояний общества, которые обозначаются словом “коррупция”. Стоит только где-нибудь появиться коррупции, как повсюду возрастает пестрое суеверие, а прежняя общенародная вера, напротив, блекнет и чахнет: суеверие — это вольнодумство второго ранга; кто отдается ему, тот выбирает известные подходящие ему формы и формулы и оставляет за собою право выбора. Суеверный человек, по сравнению с религиозным, всегда в гораздо большей степени, чем последний, представляет собою “личность”, и суеверным будет такое общество, в котором есть уже множество индивидов и тяга к индивидуальному. Рассмотренное с этой точки зрения, суеверие всегда оказывается прогрессом по отношению к вере и знаком того, что интеллект становится независимее и печется о своих правах. Тогда почитатели старой религии и религиозности начинают сетовать на коррупцию — они до сих пор определяли даже словоупотребление и плодили о суеверии кривотолки даже среди свободнейших умов. Будем же знать, что оно есть симптом просвещения. — Во-вторых, обвиняют общество, которое охвачено коррупцией, в расслабленности; в нем действительно падают акции войны и удовольствия от войны, и с тем же рвением, с каким прежде стремились к военным и гимнастическим почестям, начинают теперь гоняться за удобствами жизни. Но по обыкновению не замечают, что та старая народная энергия и страсть, которая столь великолепно смотрелась при войнах и военных играх, теперь переместилась в бесчисленные частные страсти и стали лишь менее заметной; может статься даже, что в состояниях коррупции сила и мощь растрачиваемой нынче энергии народа больше, чем когда-либо, и индивидuum проматывает ее так, как никогда прежде, — тогда он не был еще достаточно богат для этого!! И, стало быть, именно во времена “расслабления” кочует трагедия по домам и улицам, где рождаются великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вздымается к небесам. — В-третьих, как бы в возмещение за упрек в суеверии и расслаблении, периоды коррупции признаются обыкновенно более мягкими и гораздо менее жестокими по сравнению со старым, более религиозным и более сильным временем. Но и с такой похвалой не могу я согласиться так же, как и с указанным упреком: я могу согласиться лишь с тем, что теперь жестокость рядится в утонченные формы и что ее старые формы отныне не отвечают больше вкусу; но нанесение ран и пытка словом и взглядом достигают во времена коррупции своего апогея — теперь только и создается злоба и удовольствие от злобы. Коррумпированные люди остроумны и злоречивы, они знают, что есть еще другие способы убийства, чем кинжал и нападение, — они знают также, что во все хорошо сказанное верят. — В-четвертых, когда “падают нравы”, начинают всплывать существа, которые называют тиранами: они суть предтечи и как бы преждевременно созревшие первенцы индивидуумов. Еще немного времени. И этот плод плодов висит уже зрелый и желтый на народном дереве — а только ради этих плодов и существовало то дерево! Когда упадок и равным образом усобицы между разного рода тиранами достигают своей вершины, тогда непременно приходит цезарь, тиран, подводящий итоги, который кладет конец утомительной борьбе за единодержавие, вынуждая саму утомленность работать на себя. В его время индивидuum достигает обыкновенно самого зрелого состояния и, стало быть, “культура” — самого высокого и самого плодотворного: но отнюдь не ради него и не через него, хотя высшие люди культуры любят польстить своему цезарю тем, что выдают себя за дело его рук. Истина, однако, в том, что они нуждаются во внешнем покое, ибо беспокойство свое и свою работу держат при себе. В эти времена процветают продажность и предательство, поскольку любовь к вновь открытому его нынче гораздо могущественнее любви к старому, изношенному, до смерти заболтанному (totgeredeten) “отечеству”, и потребность как-нибудь обезопасить себя от страшных колебаний счастья открывает и более благородные ладони, стоит лишь могущественному и богатому выказать готовность сыпать в них золото. Тогда бывает так мало уверенности в будущем: живут лишь сегодняшним днем — состояние души, при котором все соблазнительники ведут свою легкую игру, — но и соблазнять и подкупать позволяют себя лишь “на сегодня”, сохраняя за собой право на будущее и на добродетель! Индивидуумы, эти настоящие вещи-в-себе и для-себя, как известно, больше заботятся о мгновении, чем их антиподы, стадные люди, потому что они считают себя столь же непредвиденными, как и само будущее; равным образом они охотно водятся с сильными мира сего, потому что они считают себя способными на такие поступки и планы, которые не могут рассчитывать ни на понимание, ни на милость большинства, — но тиран или цезарь понимает право индивидуума даже в его выходках и заинтересован в том, чтобы заступиться за более отважную частную мораль и даже подать ей руку. Ибо он думает о себе и хочет, чтобы о нем думали то, что высказал однажды Наполеон в своей классической манере: “Я имею право ответить на все, в чем бы меня ни упрекали, одним вечным: “Это я!” Я стою особняком от всего мира, я не принимаю ничьих условий. Я хочу, чтобы подчинялись даже моим фантазиям и находили вполне естественным, что я предаюсь тем или иным развлечениям”. Так говорил Наполеон однажды своей супруге, когда та не без оснований призывала к ответу его супружескую верность. — Во времена коррупции падают яблоки с дерева: я разумею индивидуумов, носителей семян будущего, зачинщиков духовной колонизации и нового образования государственных и общественных союзов. Коррупция — это только бранное слово для осенней поры народа.

Различное недовольство.

Слабые и как бы по-женски недовольные люди изобразительны по части украшения и углубления жизни% сильные недовольные — мужчины среди них, продолжая говорить образно, — по части улучшения и обеспечения жизни. Первые обнаруживают свою слабость и женоподобие в том, что время от времени охотно дают себя обманывать и довольствуются уже малой толикой хмеля и мечтательности, но в целом никогда не бывают удовлетворенными и страдают от неисцелимости своего недовольства; поверх этого они являются покровителями всех тех, кто умеет создавать опийные и наркотические утешения, и именно поэтому питают злобу к тому, кто ценит врача выше священника, — тем самым они поддерживают продолжительность действительных бедственных состояний! Если бы в Европе со времен Средневековья не существовало колоссального количества недовольных этого рода, то возможно, что этой прославленной европейской способности к постоянному преобразованию не было бы и в помине; ибо притязания сильных недовольных слишком грубы и, по сути, слишком непритязательны, чтобы нельзя было однажды окончательно успокоить их. Китай являет пример страны, где недовольство в целом и способность к преобразованию вымерли много веков тому назад; но социалисты и прислужники государственных идолов Европы легко смогли бы с помощью своих мер по улучшению и обеспечению жизни создать и в Европе китайские порядки и китайское “счастье”, допустив, что им удалось бы прежде искоренить те более болезненные, более нежные, женственные, покуда еще изобилующие недовольство и романтику. Европа — это больной, который в высшей степени обязан своей неизлечимости и вечному преобразованию своего страдания: эти постоянно новые состояния, эти столь же постоянно новые опасности, болячки и паллиативы породили вконец ту интеллектуальную чуткость, которая есть почти что гениальность, и во всяком случае мать всяческой гениальности.

Не предназначено для познания.

Существует некое отнюдь не редкое дурацкое смирение, погрязший в котором раз и навсегда оказывается непригодным к тому, чтобы быть учеником познания. Именно: в тот момент, когда человек этого типа воспринимает нечто необычное, он словно бы вертится на ноге и говорит себе: “Ты ошибся! Где был твой ум! Это не может быть истиной!” — вот же, вместо того, чтобы еще раз острее взглянуть и вслушаться, он бежит, словно запуганный, прочь от необычной вещи и тщится как можно скорее выбросить ее из головы. Его внутренний канон гласит: “Я не хочу видеть ничего такого, что противоречит обычному мнению о вещах! Разве я создан для того, чтобы открывать новые истины? И старых уже предостаточно”.

Что значит жизнь?

Жить — это значит: постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить — это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в нас. Жить — значит ли это, следовательно: быть непочтительным к умирающим, отверженным и старым? Быть всегда убийцею? — И все-таки старый Моисей сказал: “Не убий!”

Отрекающийся.

Что делает отрекающийся? Он стремится к более высокому миру, он хочет улететь дальше и выше, чем все положительные люди, — он отбрасывает прочь многое, что отягчило бы его полет, и, между прочим, многое, что ему дорого и мило: он жертвует этим своему стремлению ввысь. Эта жертва, это отбрасывание и есть то именно, что единственно заметно в нем: оттого и прозывают его отрекающимся, и как таковой стоит он перед нами, закутанный в свой капюшон и словно душа своей власяницы. Его, однако, вполне устраивает эффект, который он на нас производит: он хочет скрыть от нас свои желания, свою гордость, свои намерения взлететь над нами. — Да! Он умнее, чем мы думали, и так вежлив к нам — этот утверждающий! Ибо таков он, подобно нам, даже когда он отрекается.

Вредить лучшими своими качествами.

Наши силы временами так увлекают нас, что мы не в состоянии больше выдерживать своих слабостей и гибнем от них: мы даже предвидим этот исход и, несмотря на это, не желаем ничего иного. Тогда мы становимся

жестокими к тому в нас, что хочет быть пощаженным, и наше величие есть само наше жестокосердие. — Такое переживание, которое мы в конечном счете должны оплатить собственной жизнью, оказывается символичным для всего образа действий великих людей по отношению к другим людям и к их времени — именно лучшими своими качествами, тем, на что только они и способны, они губят множество слабых, неуверенных, становящихся, тщасящих людей и оттого вредны. Может даже случиться, что они в целом только вредят, ибо лучшее в них принимается и как бы испивается такими людьми, которые теряют от него. Как от слишком крепкого напитка, рассудок и самолюбие: они пьянеют настолько, что вынуждены спотыкаться и обламывать себе ноги на всех околицах, куда влечет их хмель.

29

Привиратели.

Когда во Франции начали оспаривать, а стало быть, и защищать Аристотелевы единства, можно было вновь заметить то, что так часто бросается в глаза и что, однако, видят столь неохотно: нагнали себе основания, ради которых эти законы должны были существовать, просто чтобы не признаться себе, что привыкли к их господству и не желают больше ничего другого. И так это делается, и делалось всегда, в каждой господствующей морали и религии: основания и умыслы, лежащие за привычкой, привираются к ней всякий раз, когда иным людям приходит в голову оспаривать привычку и спрашивать об основаниях и умыслах. Здесь коренится великая бесчестность консерваторов всех времен: они суть привиратели (Hinzu-Lugner).

30

Комедия знаменитых.

Знаменитые люди, которые нуждаются в своей славе, как, скажем, все политики, никогда не выбирают себе союзников и друзей без задней мысли: от одного они хотят некоего подобия блеска и отблеска своей добродетели, от другого способности нагнетать страх некоторыми опасными свойствами, которые каждый за ним признает, у третьего они крадут его репутацию праздного лежебоки, поскольку это содействует их собственным целям — казаться порою нерадивыми и косными; тем самым остается незамеченным то, что они всегда в засаде; им нужно иметь в своем окружении и как бы в качестве их наличного Я то фантазера, то знатока, то мечтателя-мыслителя, то педанта, но пройдет время, и они уже не нуждаются в них! И так беспрестанно отмирают их окружения и фасады, в то время как все, казалось бы, тшится проникнуть в это окружение и стать их “характером”: в этом они схожи с большими городами. Их репутация, как и их характер, постоянно меняется, поскольку этой перемены требуют их изменчивые средства, выставляющие напоказ со сцены то одно, то другое действительное или мнимое свойство: их друзья и союзники принадлежат, как было сказано, к аксессуарам этой сцены. Напротив, тем прочнее, тверже и блистательнее должно оставаться то, чего они желают, — хотя и это подчас нуждается в своей комедии и своем спектакле.

31

Торговля и дворянство.

Продавать и покупать считается нынче столь же обычным делом, как искусство читать и писать; нынче каждый, даже не будучи купцом, обнаруживает в этом достаточную смекалку и изо дня в день упражняется в этой технике, — точно так же, как некогда, в более дикие времена, каждый был охотником и ежедневно упражнялся в искусстве охоты. Тогда охота была обычным занятием, но, подобно тому как она, в конечном счете, стала привилегией могущественных и знатных людей и утратила тем самым характер повседневности и расхожести — оттого именно, что перестала быть необходимой и сделалась предметом каприза и роскоши, — так могло бы однажды стать и с куплей-продажей. Можно вообразить себе такое состояние общества, где ни что не покупается и не продается и где необходимость в этой технике постепенно полностью отпадает; тогда, пожалуй, отдельные личности, менее подчиненные закону всеобщего распорядка, позволят себе куплю-продажу как некую роскошь ощущения. Тогда лишь стала бы торговля благородным занятием, и дворяне, возможно, предавались бы ей столь же охотно, как войнам и политике, в то время как оценка политики, напротив, могла бы совершенно измениться. Уже теперь она перестает быть делом рук дворянина, и не исключено, что в один прекрасный день ее сочтут столь пошлым занятием, что она, подобно всей партийной и злободневной литературе, очутится под рубрикой “проституции духа”

32

Нежелательные ученики.

Что мне делать с этими обоими юношами! — воскликнул негодуя один философ, который “развращал” юношество так, как некогда развращал его Сократ, — я вовсе не желал бы себе таких учеников. Этот вот не

может сказать “нет”, а тот всему говорит “и да, и нет”. Если они постигнут мое учение, то первый будет слишком страдать, ибо мой образ мыслей требует воинственной души, умения причинять боль, радости отрицания, закаленной кожи — он зачахнет от наружных и внутренних ран. А другой будет из каждой занимающей его вещи гримировать себе посредственность, превращая ее самое в посредственность, — такого ученика желаю я своему врагу!

33

Вне аудитории.

“Чтобы доказать Вам, что человек, в сущности, принадлежит к породистым животным, я напомнил бы Вас, сколь легковверным был он в течение столь долгого времени. Только теперь, когда вышли все сроки и после чудовищного самопреодоления, стал он недоверчивым животным — да! человек ныне злее, чем когда-либо”. — Я не понимаю этого: с чего бы это человеку быть теперь недоверчивее и злее? — “Потому что теперь он имеет науку — нуждается в ней!”

34

Historia abscondita.

У каждого великого человека есть сила, действующая вспять: ради него вся история наново кладется на весы и тысячи тайн прошлого выползают из ее закоулков — под его солнце. Нет никакой возможности предсказать заранее все то, что некогда будет историей. Может быть, само прошлое в существенном все еще не открыто! Требуется еще так много действующих вспять сил!

35

Ересь и ведовство.

Мыслить иначе, чем принято, — с этим связано не столько действие более развитого интеллекта, сколько действие сильных, злых склонностей, отторгающих, изолирующих, перечаших, злорадствующих, коварных склонностей. Ересь есть подобие ведовства и, разумеется, в столь же малой степени, как и последнее, нечто безобидное или даже само по себе достойное почитания. Еретики и ведьмы суть два сорта злых людей: что в них есть общего, так это то, что и сами они чувствуют себя злыми, но при этом их неодолимо тянет к тому, чтобы сорвать свою злобу на всем общепринятом (будь то люди или мнения). Реформация — своего рода удвоение средневекового духа ко времени, когда он утратил уже чистую совесть, — порождала их в огромном количестве.

36

Последние слова.

Можно будет вспомнить, что император Август, этот страшный человек, который так же владел собою и так же умел молчать, как какой-то мудрый Сократ, проболтался о себе своими последними словами: впервые с него упала маска, когда он дал понять, что носил маску и играл комедию, играл роль отца отечества и самой мудрости на троне, играл хорошо, до полной иллюзии! *Plaudite amici, comedia finita est!* — Мысль умирающего Нерона: *qualis artifex pereo!* — была мыслью и умирающего Августа: тщеславие гистриона! болтливость гистриона! И прямая противоположность умирающему Сократу! — Но Тиберий умирал молча, этот самый измученный из всех самоистязателей, — вот кто был искренним и решительно не актером! Что могло прийти ему в голову в последний раз! Может быть, это: “Жизнь — это долгая смерть. Я-то, глупец, укоротивший ее столь многим! Был ли я создан стать благодетелем? Мне следовало бы дать им вечную жизнь: тогда бы я мог видеть их вечно умирающими. Для этого ведь дано было мне такое хорошее зрение: *qualis spectator pereo!*” Когда, однако, после долгой борьбы со смертью он, казалось бы, стал вновь приходить в себя, сочли целесообразным придушить его подушками — он умер двойной смертью.

37

Из трех заблуждений.

В последние столетия науке содействовали отчасти потому, что надеялись с нею и через нее лучше всего постичь божественную благодать и мудрость — основной мотив в душе великих англичан (например, Ньютона), — отчасти потому, что верили в абсолютную полезность познания, главным образом в сокровеннейшую связь морали, знания и счастья — основной мотив в душе великих французов (например, Вольтера), — отчасти же потому, что полагали найти и полюбить в науке нечто бескорыстное, безобидное, себедовлеющее, поистине невинное, нечто такое, к чему злые влечения человека не имеют никакого отношения, — основной мотив в душе Спинозы, который в качестве познающего чувствовал себя божественным, — итак, из трех заблуждений!

Взрывчатые вещества.

Если учтут, как нуждается во взрывах сила молодых людей, то не подивятся грубости и неразборчивости, с какими они решаются на то или иное дело: что прельщает их, так это не само дело, а видимость азарта, разгорающегося вокруг дела, как бы видимость горящего фитиля. Тонкие соблазнительники поэтому соображают подать им шансы на взрыв в будущем и воздержаться от мотивировки их дела: заботясь о мотивах, не приобретут этих пороховых бочек!

Изменившийся вкус.

Изменение общего вкуса важнее, чем изменение мнений; мнения со всеми их доказательствами, возражениями и всем интеллектуальным маскарадом суть лишь симптомы изменившегося вкуса, а вовсе не его причины, за которые их все еще так часто принимают. Чем изменяется общий вкус? Тем, что отдельные могущественные, влиятельные люди без чувства стыда произносят и тиранически навязывают свое *hoc est ridiculum, hoc est absurdum*, стало быть, суждение своего вкуса и отвращения: тем самым они оказывают давление, из которого постепенно образуется поначалу привычка все более многих, а в конечном счете потребность всех. А то, что сами эти отдельные личности ощущают и “вкушают” иначе, это коренится по обыкновению в специфике их образа жизни, питания, пищеварения, возможно, в излишке или недостатке неорганических солей в их крови и мозгу, короче, в физике; они, впрочем, обладают мужеством сознаваться в своей физике и вслушиваться в тончайшие тона ее требований: их эстетические и моральные суждения и суть такие “тончайшие тона” физики.

О недостатке благородной формы.

Солдаты и командиры находятся все еще в гораздо лучших отношениях друг к другу, чем рабочие и работодатели. По крайней мере, всякая основанная на милитаризме культура и поныне стоит выше всех так называемых индустриальных культур: последние в их нынешнем обличье представляют собою вообще пошлейшую форму существования из всех когда-либо бывших. Здесь действует просто закон нужды: хотят жить и вынуждены продавать себя, но презируют того, кто пользуется этой нуждой и покупает себе рабочего. Странно, что под гнетом могущественных, внушающих страх, даже ужасных личностей — тиранов и полководцев — порабощение ощущается далеко не столь мучительно, как под гнетом неизвестных и неинтересных личностей, каковыми являются все эти индустриальные магнаты: в работодателе рабочий видит по обыкновению лишь хитрого, сосущего кровь, спекулирующего на всяческой нужде пса в человеческом обличье, чье имя, вид, нравы и репутация ему совершенно безразличны. Фабрикантам и крупным торговым предпринимателям, по-видимому, слишком не хватало до сих пор всех тех форм и отличий высшей расы, которыми только и становятся личности интересными; обладай они благородством потомственного дворянства во взгляде и осанке, может статься, и вовсе не существовало бы социализма масс. Ибо эти последние, по сути, готовы ко всякого рода рабству, предположив, что стоящий над ними повелитель постоянно удостоверяет себя как повелителя, как рожденного повелевать, — и делает это благородством своей формы! Самый пошлый человек чувствует, что благородство не подлежит импровизации и что следует чтить в нем плод долгих времен, — но отсутствие высшей формы и пресловутая вульгарность фабрикантов с их красными жирными руками наводят его на мысль, что здесь это было делом только случая и счастья — возвышение одного над другими: что ж, так решает он про себя, испытаем и мы однажды случай и счастье! Бросим и мы однажды игральные кости! — и начинается социализм.

Против раскаяния.

Мыслитель видит в своих собственных поступках попытки и вопросы разъяснить себе нечто: удача и неудача являются для него прежде всего ответами. А сердиться на то, что нечто не удалось, или даже чувствовать раскаяние — это предоставляет он тем, которые делают что-то потому, что им приказано это, и которым приходится ждать порки, если милостивый хозяин будет недоволен результатом.

Работа и скука.

Искать себе работы ради заработка — в этом нынче сходны между собой почти все люди цивилизованных стран;

всем им работа предстает как средство, а не сама цель; оттого они обнаруживают столь мало разборчивости в выборе работы, допустив, что она сулит им немалый барыш. Но есть и редкие люди, которые охотнее погибли бы, чем работали бы без удовольствия от работы, — те разборчивые, трудноудовлетворяемые люди, которых не заманишь хорошей прибылью, ежели сама работа не есть прибыль всех прибылей. К этой редкой породе людей принадлежат художники и созерцатели всякого рода, но также и те праздные гуляки, которые проводят жизнь в охоте, путешествиях или в любовных похождениях и авантюрах. Все они лишь в той мере ищут работы и нужды, в какой это сопряжено с удовольствием, будь это даже тяжелейший, суровейший труд. Иначе они остаются решительными лентяями, хотя бы лень эта и сулила им обнищание, бесчестье, опасность для здоровья и жизни. Скуки они страшатся не столь сильно, как работы без удовольствия: им даже потребна многая скука для лучшего выполнения их работы. Мыслителю и всем изобретательным умам скука предстает как то неприятное “безветрие” души, которое предшествует счастливому плаванию и веселым ветрам; он должен вынести ее, должен переждать в себе ее действие. — Это как раз и есть то, чего никак не могут требовать от себя более убогие натуры! Отгонять от себя скуку любым путем — пошло, столь же пошло, как работать без удовольствия. Азиатов, пожалуй, отличает от европейцев то, что они способны к более длительному, глубокому покою, чем последние; даже их наркотики действуют медленно и требуют терпения, в противоположность отвратительной внезапности европейского яда — алкоголя.

43

Что выдают законы.

Весьма ошибаются, когда изучают уголовные законы какого-нибудь народа так, как если бы они были выражением его характера; законы выдают не то, что есть народ, а то, что кажется ему чуждым, странным, чудовищным, чужеземным. Законы относятся к исключениям нравственной стороны нравов (Sittlichkeitbder Sitte), и суровейшие наказания касаются того, что сообразно нравам соседнего народа. Так, у вагабитов есть лишь два смертных греха: почитать иного Бога, чем Бога вагабитов, и — курить (это называется у них “постыдным видом пьянства”). “А как обстоит дело с убийством и прелюбодеянием?” — удивленно спросил англичанин, узнав об этом. “Эй! Бог милосерд и сострадателен!” — ответил старый вождь. — Так, и у древних римлян существовало представление, что женщина может лишь двояким образом смертельно согрешить: однажды через прелюбодеяние, затем — через винопитие. Старый Катон полагал, что поцелуй между родственниками лишь потому вошли в обычай, чтобы держать женщин в этом пункте под контролем; поцелуй дал бы понять: дотрагивалась ли она до вина? На деле женщин, уличенных в опьянении, наказывали смертью, и, разумеется, не потому лишь, что женщины под воздействием вина иной раз отучаются вообще отказывать; римляне боялись прежде всего оргиастического и дионисического существа, время от времени навещающего к женщинам европейского Юга в ту пору, когда вино было еще в Европе в новинку, видя в этом чудовищное преклонение перед иноземщиной, подрывающее основу римского мировосприятия; это было для них равносильно измене Риму, чужеземной аннексии.

44

Мотивы, взятые на веру.

Как бы ни было важно знать мотивы, по которым фактически действовало доньше человечество, для познающего, возможно, чем-то более существенным оказывается вера в те или иные мотивы, стало быть, то, что человечество само до сих пор подсовывало и воображало себе как действительный рычаг своих поступков. Внутреннее счастье и горе людей становились им уделом как раз сообразно их вере в те или иные мотивы, а вовсе не через то, что было на деле мотивом! Последнее представляет второстепенный интерес.

45

Эпикур.

Да, я горжусь тем, что иначе ощущаю характер Эпикура, чем, пожалуй, кто-либо, и при всем, что я о нем слышу и читаю, наслаждаюсь послеполуденным счастьем древности, — я вижу его взор устремленным на широкое беловатое море, за прибрежные скалы, на которые садится солнце, в то время как большие и маленькие животные играют в его свете, надежно и спокойно, как этот свет и как тот самый взор. Такое счастье мог изобрести лишь долго страдавший человек, счастье взора, перед которым притихло море бытия и который не может уже насытиться его поверхностью и этой пестрой, нежной, трепетной морской шкурой: никогда до этого не было такого скромного наслаждения.

46

Наше удивление.

Глубокое и прочное счастье заключается в том, что наука познает вещи, которые устойчивы и которые все наново служат основанием для новых знаний: могло бы ведь быть иначе! Да, мы так убеждены в ненадежности и причудливости наших суждений и в вечном изменении всех человеческих законов и понятий, что это попросту повергает нас в удивление — насколько же устойчивы выводы науки! Прежде не ведали ничего об этой превратности всего человеческого, нравы нравственности (*die Sitte der Sittlichkeit*) придавали прямую осанку вере в то, что внутренняя жизнь человека во всей ее полноте вечными скобами прикреплена к железной необходимости; тогда, может статься, ощущали схожее блаженство удивления, внемля сказкам и рассказам о феях. Чудесное было так любо этим людям, которых порой утомляли правила и вечность. Утратить однажды почву под ногами! Воспарить! Блуждать! Сумасбродствовать! — это было раем и сибаритством прежних времен, тогда как наше блаженство сродни блаженству потерпевшего кораблекрушение, который достиг берега и обеими ногами уперся в старую прочную землю, — дивясь тому, что она не колеблется.

47

О подавлении страстей.

Когда длительное время запрещают себе выражение страстей, как нечто подобающее “низшим”, грубым, бюргерским, мужицким натурам, и, стало быть, хотят подавлять не сами страсти, а лишь их язык и жесты, тогда тем не менее добиваются как раз нежелательного результата — подавления самих страстей, по крайней мере их ослабления и изменения, — поучительнейшим примером чему служит двор Людовика XIV и все, что находилось в зависимости от него. Следующее столетие, воспитанное в подавлении выражения страстей, лишилось уже самих страстей, заменив их грациозным, поверхностным, игривым поведением, — поколение, погрязшее в неспособности быть неучтивым, — до такой степени, что даже оскорбление принималось и возвращалось не иначе как любезными словами. Может быть, наше время являет разительнейший контраст к этому — повсюду, в жизни и в театре и не в последнюю очередь во всем, что пишут, вижу я удовольствие от всяческих грубых выплесков и ужимок страсти: нынче требуется известная конвенция страстности — только не сама страсть! Тем не менее ее в конце концов достигнут, и наши потомки будут отличаться подлинной дикостью, а не одною лишь дикостью и своенравностью форм.

48

Знание нужды.

Быть может, ничто так не разъединяет людей и времена, как различная степень знания нужды, испытываемой ими, — нужды как душевной, так и телесной. По отношению к последней мы, нынешние люди, пожалуй, все без исключения, вопреки нашим недугам и недомоганиям, из недостатка в личном опыте, халтурщики и фантазеры одновременно — по сравнению с тем периодом страха — длительнейшим из всех периодов, — когда отдельный человек должен был сам защищать себя от насилия и ради этого сам быть насильником. Тогда мужчина проходил большую школу телесных мук и лишений и даже в известной суровости к самому себе, в добровольной выучке страданий черпал необходимое средство самосохранения; тогда воспитывали свое окружение переносить боль, тогда охотно причиняли боль и наблюдали на других ужаснейшие ее реакции без какого-либо другого чувства, кроме чувства собственной безопасности. Что же касается душевной нужды, то я рассматриваю нынче каждого человека в зависимости от того, знает ли он ее по опыту или по описанию, считает ли он все еще необходимым симулировать это знание как своего рода признак более утонченного развития, или в глубине души он и вовсе не верит в большие душевные страдания, так что при упоминании о них ему мерещится нечто схожее с большими телесными болями, скажем зубные и желудочные боли. Таковым видится мне теперь, положение большинства. Из всеобщей неискушенности в этой двоякой боли и непривычности вида страждущего человека вытекает одно важное следствие: нынче ненавидят боль в гораздо большей степени, чем прежние люди, и злословят о ней злее, чем когда-либо; даже саму мысль о боли находят уже едва выносимый и делают отсюда вопрос совести и упрек всему существованию. Появление пессимистических философий отнюдь не является признаком великих страшных бедствий; эти вопросительные знаки о ценности всякой жизни ставятся, скорее, в те времена, когда утонченность и облегченность существования достигает такой степени, при которой и неизбежные комариные укусы души и тела считаются слишком кровавыми и злостными, и на фоне скудного опыта по части действительных страданий уже томительное общее представление о них с легкостью предстает страданием высшего рода. — Против пессимистических философий и гипертрофированной сверхчувствительности, которая кажется мне сущим “бедствием современности”, есть один рецепт, — но, возможно, рецепт этот прозвучит слишком жестоко и сам будет причислен к признакам, на основании которых изрекают нынче суждение: “Существование есть зло”. Что ж! Рецепт против “нужды” гласит: нужда.

49

Великодушные сродни ему.

Парадоксальные явления, как, скажем, внезапная холодность в поведении добряка, как юмор меланхолика, как — прежде всего — великодушие, или внезапный отказ от мести, либо успокоение зависти, выступают у людей, которым свойственна мощная внутренняя сила расточительства, у людей внезапного пресыщения и внезапного отвращения. Их удовлетворение наступает столь быстро и столь сильно, что за ним тотчас же следует по пятам чувство постылости и недовольства и контрастная смена вкуса; в этой контрастности срабатывает судорога ощущения: у одного — через внезапную холодность, у другого — через смех, у третьего — через слезы и самоотверженность. Великодушный — по крайней мере, тот тип великодушного, который всегда производил наибольшее впечатление, — видится мне человеком с крайне выраженной жаждой мести, чье утоление не терпит отсрочки и осуществляется уже в представлении столь полно, основательно и до последней капли, что вслед за этим быстрым разгулом наступает чудовищно быстрое отвращение, — теперь, как говорится, он возвышается "“ад собою”" и прощает своему врагу, даже благословляет и чтит его, Но этим насилием над самим собой, этим издевательством над своим только что столь могучим еще чувством мести он лишь подталкивается к новому влечению, уже овладевшему им (отвращение), и делает это так же нетерпеливо и необузданно, как незадолго до этого предвосхищал и как бы исчерпывал своей фантазией радость мести. В великодушии есть столько же эгоизма, сколько и в мести, только этот эгоизм другого качества.

50

Аргумент изоляции.

Упреки совести и у самого совестливого человека слабы по сравнению с чувством: “вот это и вон то противно хорошему тону твоего общества”. Даже сильнейший все еще боится холодного взгляда, искривленного гримасой рта, со стороны тех, среди которых и для которых он воспитан. Чего же тут, собственно, бояться? Одиночества! — этого аргумента, перед которым отступают даже наилучшие аргументы в пользу какой-нибудь личности или дела! — Так вещает в нас стадный инстинкт.

51

Чувство истины.

Мне по душе всякий скепсис, на который мне дозволено ответить: “попробуем это!” Но я не могу уже ничего слышать о всех вещах и вопросах, не допускающих эксперимента. Такова граница моего “чувства истины”: ибо там храбрость утрачивает свои права.

52

Что знают о нас другие.

То, что мы знаем и помним о самих себе, не столь существенно для счастья нашей жизни, как это полагают. В один прекрасный день разражается над нами то, что другие знают (или думают, что знают) о нас, — и тогда мы постигаем, что это гораздо сильнее. Легче справиться со своей нечистой совестью, нежели со своей нечистой репутацией.

53

Где начинается добро.

Там, где слабое зрение не способно уже разглядеть злое влечение, как таковое, из-за его рафинированности, человек полагает царство добра, и ощущение того, что отныне он пребывает в царстве добра, приводит все его влечения, до этого спугиваемые и ограничиваемые злым влечением, в возбуждение, которое переживается как чувство уверенности, удовольствия, благосклонности. Итак: чем тупее глаз, тем шире простирается добро! Отсюда вечная веселость народа и детей! Отсюда угрюмость и родственная нечистой совести тоска великих мыслителей!

54

Сознание видимости.

Как чудесно и неискушенно и в то же время как ужасно и иронично чувствую я себя со своим познанием по отношению ко всей полноте бытия! Я открыл для себя, что прежний человеческий и животный мир, да и вообще глубочайшая древность и прошлое всего ошутимого бытия продолжает во мне творить, любить, ненавидеть, завершать, — я внезапно пробудился среди этого сна, но пробудился лишь к сознанию. Что я именно сновидцу и должен впредь сновидеть, дабы не сгинуть, подобно тому как должен пребывать во сне лунатик, дабы не сорваться. Чем же является для меня теперь “видимость”? Поистине не противоположностью какой-то сущности — разве же могу я высказать о какой-либо сущности нечно иное, кроме самих предикатов ее видимости!

Поистине не мертвой маской, которую можно было бы натянуть на какой-то неизвестный икс, но и вполне содрать с него! Видимость для меня — это самое действующее и живущее, которое заходит столь далеко в своем самоосмеянии, что дает мне почувствовать, что здесь все есть видимость и обманчивый свет и танец призраков и ничего больше, — что между всеми этими сновидцами и я, “познающий”, танцую свой танец; что познающий — это только средство продлить земной танец и лишь постольку принадлежит к церемониймейстерам бытия и что возвышенная последовательность и взаимосвязь всяческого познания есть и будет, пожалуй, высочайшим средством обеспечить общность грез и взаимопонимания всех этих сновидцев и тем самым длительность сновидения.

55

Последнее благородство.

Что же делает “благородным”? Конечно, не то, что приносят жертвы: и буйный сладострастник приносит жертвы. Конечно, не то, что вообще предаются страстям: есть и постыдные страсти. Конечно, не то, что бескорыстно делают что-то другим: быть может, как раз в благороднейшем и явлена величайшая последовательность своекорыстия. — Но то, что страсть, охватывающая благородного, есть некая особенность, неведомая ему, — применение редкого и единичного масштаба и почти умопомешательства — чувство жара в вещах, предстающих всем другим холодными на ощупь, — разгадка ценностей, для которых еще не изобретено весов, — жертвоприношение на алтарях, посвященных неведомому Богу, — храбрость без взыскания почестей — самодовольство, обладающее избытком и сообщающееся людям и вещам. Словом, редкое качество и пребывание в неведении относительно этой редкости — вот что до сих пор делало благородным. Но пусть при этом примут во внимание, что таким путем были несправедливо оценены и в целом оклеветаны в пользу исключений все обычные, наиболее свойственные человеку и необходимые качества, короче, все содействующее сохранению рода и вообще всякое правило. Стать защитником правила — таковой, пожалуй, могла бы быть последняя форма и утонченность, в которой проявится на земле благородство.

56

Жажда страданий.

Когда я думаю о страстном желании что-либо предпринять, постоянно щекочущем и дразнящем миллионы юных европейцев, которые не могут выносить скуки и самих себя, я понимаю, что им должно быть присуще желание как-то пострадать, чтобы почерпнуть из этого страдания некое правдоподобное основание для поступков и действий. Нужна нужда! Отсюда крики политиков, отсюда все эти ложные, присочиненные, преувеличенные “бедствия” всевозможных классов и слепая готовность верить в них. Эта молодежь требует, чтобы извне нагрянуло или предстало взору — не счастье, нет, — а само несчастье, и ее фантазия уже наперед суетится в попытках создать из этого некое чудовище, с тем чтобы после суметь бороться с неким чудовищем. Если бы эти нуждолюбцы чувствовали в себе силу изнутри приносить самим себе пользу, изнутри причинять самим себе зло, они сумели бы также изнутри сотворить себе собственную, самособственную нужду. Их открытия смогли бы тогда быть более утонченными, а их удовлетворение звучало бы как хорошая музыка, тогда как нынче они загружают мир своими криками о нужде и, стало быть, весьма часто уже и чувством нужды! Они не в силах ничего поделать с собой, — и вот они накликают несчастье других: им всегда нужны другие! И всегда все новые другие! — Виноват, друзья мои, я рискнул накликать мое счастье.

ВТОРАЯ КНИГА57

Реалистам.

Вы. Трезвые люди, чувствующие себя вооруженными против страстей и фантазерства и охотно старающиеся выдать свою пустоту за гордость и украшение, — вы называете себя реалистами и даете понять, что мир в действительности сотворен так, каким он предстает вам, — что лишь перед вами предстает действительность разоблаченной и что сами вы, пожалуй, составляете лучшую ее часть — о вы, возлюбленные Саисские изваяния! Но даже в самом разоблаченном состоянии не предстаете ли и сами вы все еще в высшей степени страстными и темными существами, сродни рыбам, и не слишком ли схожи вы все еще с влюбленным художником? — а что для влюбленного художника “действительность”? Вы все еще торгуете вразнос оценками вещей, убегающих корнями в страсти и влюбленности прошедших столетий! Все еще прохвачена ваша трезвость сокровенным и неискоренимым опьянением! Ваша любовь к “действительности”, например, — о, до чего же это старая-престарая “любовь”? В каждом ощущении, в каждом чувственном впечатлении явлен обломок этой старой любви, и равным образом сюда вплетены фантастика, предрассудки, неразумие, неведение, страх и мало ли что еще. Вот эта гора! Вон то облако! Что в них “действительного”? Страхните-ка однажды с них иллюзию и всю человеческую примесь, вы, трезвые! Да если бы только вы смогли это! Если бы вам удалось забыть ваше происхождение, ваше прошлое, ваше детство — всю вашу человечность и животность! Для нас не существует никакой “действительности” — да и для вас тоже, вы, трезвые, — мы далеко не так чужды друг другу, как вы

думаете, и, возможно, наша добрая воля выйти из опьянения в такой же степени заслуживает внимания, как и ваша вера в то, что вы вообще неспособны на опьянение.

58

Только как творящие.

Это стоило мне величайших усилий и все еще стоит мне величайших усилий — осознать, что несказанно большее содержание заключается в том, как называются вещи, чем в самих вещах. Репутация, имя и внешний облик, значимость, расхожая мера и вес какой-либо вещи — поначалу чаще всего нечто ложное и произвольное, наброшенное на вещь, как платье, и совершенно чуждое ее сущности и даже ее коже, — постепенно как бы прирастают к вещи и врастают в нее вследствие веры в них и их дальнейшего роста от поколения к поколению: первоначальная иллюзия почти всегда становится, в конечном счете, сущностью и действует как сущность! Каким бы глупцом был тот, кто возомнил бы, что достаточно указать на это происхождение и туманный покров этой химеры, чтобы уничтожить считающийся реальным мир, так называемую “действительность”! Лишь в качестве творящих можем мы уничтожать! — Но не забудем и того, что достаточно сотворить новые имена, оценки и вероятности, чтобы на долгое время сотворить новые “вещи”.

59

Мы, художники!

Когда мы любим женщину, мы с легкостью проникаемся ненавистью к при роде, вспоминая о всех отвратительных естественностях, которым подвержена каждая женщина; мы охотно обошли бы это вниманием, но, раз соприкоснувшись с этим, душа наша нетерпеливо вздрагивает и с презрением, как было сказано, взирает на природу: мы оскорблены, при рода кажется нам вторгшейся в наши владения и осквернившей их неосвященными руками. Тогда затыкают уши от всякой физиологии и тайне решают про себя: “я не желаю ничего слышать о том, что человек состоит из чего-либо еще, кроме души и формы!” “Подкожный человек” для всех любящих — ужас и немыслимость, хула на Бога и любовь. — Ну так вот, то же самое, что ощущает нынче любящий по отношению к природе и естественности, некогда ощущал всякий почитатель Бога и его “святого всемогущества”: во всем, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, видел он вмешательство в ее драгоценнейшие владения и, стало быть, посягательство — и вдобавок к тому еще и бесстыдство посягателя! “Закон при роды” — уже одно это выражение звучало для него богохульством; в сущности, ему очень хотелось бы видеть всякую механику сведенную к актам нравственной воли и произвола, — но, поскольку ни кто не мог оказать ему этой услуги, он по возможности сам утаивал от себя природу и механику и проводил жизнь в грезах. О, эти люди прошлого умели грезить, и для этого им вовсе не следовало прежде заснуть! — но и мы, люди настоящего, все еще слишком умеем это, при всей нашей доброй воле к бодрствованию и дневному свету! Достаточно лишь полюбить, возненавидеть, возжелать, вообще ощутить — на нас тотчас же нисходит дух и сила сна, и мы, с открытыми глазами и пренебрегая всяческой опасностью, взбираемся на самые рискованные стези, на крыши и башни бреда, без малейшего головокружения, словно бы рожденные лазать по высотам, — мы, лунатики дня! Мы, художники! Мы, утайщики естественности! Мы. Сомнамбулы и богоманы! Мы. Смертельно спокойные, безустанные странники по высотам, которые и видятся нам не высотами, а нашими равнинами, нашими гарантиями.

60

Женщины и их действие на расстоянии.

Есть ли у меня еще уши? Превратился ли я в слух и ни во что больше? Здесь стою я среди пожара морского прибоя, чье белое пламя лижет мои ноги, — со всех сторон доносятся до меня вой, угрозы, крики, пронзительные звуки, а тем временем в глубине глубин старый потрясатель земли тупо, словно ревуший бык, поет свою арию; он при этом отбивает ногами такой землетрясильный такт, что даже у этих обветренных скалистых чудищ трепещет сердце в груди. И тут, внезапно, словно из ничего, перед самими воротами этого адского лабиринта, всего в нескольких саженях от них, появляется — большое парусное судно, скользящее мимо, молча, как привидение. О, эта призрачная красота! Какими чарами охватывает она меня! Как? Неужели судно это загружено всем покоем и безмолвием мира? Неужели и само мое счастье занимает здесь свое тихое место, мое блаженное Я, моя вторая усопшая самость? Еще не мертвая, но и уже не живущая? Словно призрачное, тихое, созерцательное, скользящее, парящее полусущество? Подобное судну, порхающему своими белыми парусами по темному морю, как огромная бабочка! Да! Порхать по бытию! Вот что это! Вот чем было бы это! — Кажется, этот шум сделал меня мечтателем? Всякий большой шум заставляет нас полагать счастьем тишину и даль. Когда мужчина стоит среди своего шума, среди прибоя своих бросков и набросков, тогда-то и видит он, как скользят мимо него тихие очаровательные существа, счастье и замкнутость которых исполняют его тоски, — это женщины. Он готов уже думать, что там, в женщинах, и живет лучший он сам, что в этих уголках

смолкает и самый шумный прибой и жизнь сама становится сном о жизни. Однако! Однако! Мой благородный мечтатель, даже на прекраснейшем паруснике бывает так много шума и галдежа, и, к сожалению, так много мелочного и жалкого галдежа! Волшебство и могущественнейшее воздействие женщин есть, говоря языком философов, действие на расстоянии, *actio in distans*: но сюда принадлежит сперва и прежде всего — дистанция!

61

К чести дружбы.

Что чувство дружбы считалось в древности самым высоким чувством, более высоким даже, чем прославленнейшая гордость самодовольных и мудрых, и даже как бы единственным и более священным сородичем ее, это очень хорошо выражено в рассказе о том македонском царе, который подарил одному афинскому философу-мироненавистнику талант и получил от него свой подарок обратно. “Как, — воскликнул царь, — разве у него нет друга?” Он хотел этим сказать: “я уважаю эту гордость мудреца и независимого человека, но я еще выше уважал бы его человечность, если бы друг в нем одержал победу над его гордостью. Философ унизился передо мной, показав, что из двух самых высоких чувств он не ведает одного — и как раз более высокого!”

62

Любовь.

Любовь прощает любимому даже его вожделение.

63

Женщина в музыке.

Как это случается, что теплые дождливые ветры приносят с собою музыкальное настроение и радость сочинять мелодии? Разве это не те самые ветры, которые врываются в церкви и навевают женщинам любовные мысли?

64

Скептики.

Боюсь, что состарившиеся женщины в сокровеннейшем тайнике своего сердца скептичнее всех мужчин: они верят в поверхностность бытия как в его сущность, и всякая добродетель и глубина для них лишь покров этой “истины”, весьма желательный покров некоего *rudendum*, — стало быть, вопрос приличия и стыда, не больше!

65

Преданность.

Есть благородные женщины с известной нищетою духа, которые, тщаь выразить свою глубочайшую преданность, не умеют найти иного выхода из затруднительного положения, как предложить свою добродетель и стыд — высшее, что у них имеется. И часто подарок этот принимается, вовсе не обязывая ни к чему такому, что предполагают дарительницы, — очень печальная история!

66

Сила слабых.

Все женщины умеют очень тонко преувеличивать свои слабости, они даже изобретают себе слабости, чтобы выглядеть совершенно хрупкими украшениями, которым в тягость и пылинки: само их существование должно служить мужчине укором и напоминанием о его неотесанности. Так защищаются они против сильных и всякого “кулачного права”.

67

Прикидываться самой собою.

Теперь она любит его и смотрит с тех пор на мир с таким спокойным доверием, точно корова, но увы! тем и очаровывала она его, что казалась сплошь изменчивой и непонятной! В нем же было чересчур много постоянной погоды! Не следовало бы ей прикинуться прежней, в прежнем своем характере? Притвориться нелюбящей? Не это ли ей советует — любовь? *Vivat comoedia!*

68

Воля и уступчивость.

Как-то привели к мудрецу одного юношу и сказали: “Смотри, вот один из тех, кого испортили женщины!” Мудрец покачал головой и улыбнулся. “Это мужчины, — воскликнул он, — портят женщин, и все, в чем грешат женщины, должно искупляться и улучшаться в мужчинах, ибо мужчина сотворяет себе образ женщины, а женщина создается по этому образу”. — “Ты слишком снисходителен к женщинам, — сказал кто-то из стоявших рядом, — ты их не знаешь!” Мудрец ответил: “Свойство мужчины — воля, свойство женщины — уступчивость: таков закон полов, поистине суровый закон для женщины! Все люди не виноваты в том, что они таковы, а женщины и вдвойне не виноваты: у кого хватило бы бальзама и милосердия к ним!” — “Как бальзама! Как милосердия! — вскричал кто-то еще из толпы. — Женщин надо лучше воспитывать!” — “Воспитывать лучше надо мужчин”, — ответил мудрец и кивнул юноше, чтобы тот последовал за ним. — Но юноше за ним не последовал.

69

Способность к мести.

Что кто-нибудь не может и, следовательно, не хочет защищаться, это, в наших глазах, вовсе еще не позорит его; но мы слишком низко ценим того, кто лишен как способности, так и готовности к мести, — безразлично, мужчина это или женщина. Разве смогла бы удержать нас (или, как говорят, “привязать”) женщина, которую мы не считаем способной при случае пустить в ход кинжал (что-то вроде кинжала) против нас? — или против себя: что в определенном случае было бы более чувствительной мстью (китайской мстью).

70

Госпожи господ.

Это глубокое могучее контральто слышимое временами в театре, при подымает внезапно перед нами занавес возможностей, в каковые мы по обыкновению не верим: и вот мы сразу верим в то, что где-то в мире могут существовать женщины с высокими, героическими, царственными душами, способные и готовые к грандиозным противостояниям, решениям и жертвованиям, способные и готовые к господству над мужчинами, ибо в них лучшее, что есть в мужчине, поверх всякого там пола, стало воплощенным идеалом. Правда, в намерении театра отнюдь не входило, чтобы эти голоса давали именно такое представление о женщине: им приходится обычно изображать идеального любовника, например какого-нибудь Ромео; но, судя по моему опыту, театр и композитор, ожидающий от такого голоса подобных действий, как правило, просчитываются. В этих любовников не верят: такие голоса содержат все еще колорит матери и хозяйки дома, и больше всего тогда именно, когда в их звучании слышна любовь.

71

О женском целомудрии.

Есть нечто совершенно удивительное и невероятное в воспитании благородных женщин, возможно даже, что не существует ничего более парадоксального. Весь мир согласно сошелся на том, чтобы воспитывать их по возможности в полном неведении in eroticis и внушать им глубокий стыд перед этими вещами, оборачивающийся крайним нетерпением и бегством при малейшем намеке на них. Вся “честь” женщины, в сущности, поставлена здесь на карту: чего только не простили бы им во всем прочем! Но здесь должны они всем существом пребывать в неведении: для этого их “зла” у них должны отсутствовать глаза и уши, слова и мысли — уже одно знание оказывается тут злом. И что же! Словно ужасным громовым ударом выбрасываются они в действительность и знание, вступая в брак, — и притом с тем, кого они больше всего любят и кем больше всего дорожат: уличить в противоречии любовь и срам, ощутить воедино восхищение, уступку, долг, сострадание и ужас от неожиданного соседства между Богом и зверем, и что еще! — тут действительно завязали себе такой душевный узел, равного которому не сыщешь! Даже сострадательное любопытство мудрейшего знатока людей окажется бессильным угадать, как удастся той или иной женщине обрести себя в этом решении загадки и в этой загадке решения и какое ужасное, далеко простирающееся подозрение должно при этом шевелиться в бедной, вышедшей из пазов душе, как наконец, именно в этом пункте бросает якорь последняя философия и скепсис женщины! — После этого — глубокое молчание, как и до этого: и часто молчание перед собою, закрывание глаз на себя. — Оттого молодые женщины весьма стараются выглядеть поверхностными и рассеянными; наиболее утонченные среди них напускают на себя некоего рода нахальство. — Женщины с легкостью воспринимают своих мужей как вопросительный знак своей чести, а своих детей как апологию или искупление — они нуждаются в детях и желают их себе в совершенно ином смысле, чем желает себе детей мужчина. — Короче, к женщинам никогда нельзя быть достаточно снисходительным!

Матери.

Звери думают о самках иначе, чем мужчины; самка ценится ими как продуктивное вещество. Отцовской любви у них нет, но что-то вроде любви к детенышам своей возлюбленной и привычки к ним присуще им. Самки же получают в детях удовлетворение своего властолюбия, некую собственность, некое занятие, нечто вполне им понятное, с чем можно дать волю языку: все это вместе и составляет материнскую любовь — позволено сравнить ее с любовью художника к своему произведению. Беременность сделала женщин более мягкими, более терпеливыми, более пугливыми, более смиренными; равным образом и духовная беременность формирует характер созерцательной натуры, которая родственна женскому характеру: это матери-самцы. — У животных прекрасным считается мужской пол.

Священная жестокость.

К одному святому подошел человек с новорожденным младенцем на руках. “Что делать мне с этим ребенком? — спросил он. — Он жалок, уродлив и недостаточно живой, чтобы умереть”. “Убей его, — вскричал святой ужасным голосом, — убей его и держи его затем три дня и три ночи на руках, чтобы сохранить себе об этом память: тогда ты уже не родишь ребенка, покуда не придет и твое время рожать”. — Услышав это, человек ушел разочарованный, и многие осуждали святого за жестокий совет убить младенца. “А разве не более жестоко оставить его в живых?” — сказал святой.

Неудачницы.

Никогда не везет бедным женщинам, которые в присутствии того, кого они любят, становятся беспокойными и неуверенными и слишком много говорят: ибо мужчины надежнее всего клюют на несколько таинственную и флегматичную нежность.

Третий пол.

“Маленький мужчина — это парадокс, но все-таки мужчина, — а вот маленькие женушки, в сравнении с высокими женщинами, кажутся мне принадлежащими к какому-то другому полу”, — сказал один старый танцмейстер. Маленькая женщина никогда не красива — сказал старый Аристотель.

Величайшая опасность.

Если бы во все времена не было такого излишка людей, которые не считали бы дисциплину головы — свою “разумность” — своей гордостью, обязанностью, добродетелью, которых, в качестве друзей “здорового смысла”, не оскорбляло бы и не стыдило всякое фантазирование и распутство мысли, то человечество давным-давно погибло бы! Над ним всегда повисало и продолжает повисать, как величайшая его опасность, раздражающее помешательство — так именно называется вспышка произвола в чувствовании, зрении и слухе, смакование головной невоспитанности, радость безрассудства. Не истина и достоверность оказываются антиподом мира помешанных, но общность и общеобязательность какой-либо веры, короче, отсутствие своеволия в суждениях. И величайшей работой людей было до сих пор достичь единодушия во взгляде на множество вещей и обложить себя законом этого единодушия — все равно, истины эти вещи или ложны. Эта дисциплина головы и сохранила человечество, — но противоположные влечения все еще столь могущественны, что будущее рода человеческого, по существу, внушает мало доверия. Образ вещей все еще движется и расплывается, и, может быть, нынче больше и быстрее, чем когда-либо; как раз изысканнейшие умы противятся все еще этой общеобязательности — прежде всего исследователи истины! Вера, понятая как единоверие, все еще вызывает отвращение и новую похотливость в более утонченных головах, и уже медленный темп, предписываемый ею всем духовным процессам, это подражание черепахе, признанное здесь за норму, делает художников и поэтов перебежчиками — в этих-то нетерпеливых умах и раздражается форменная тяга к помешательству, ибо помешательству свойствен такой веселый темп! Итак, требуется добродетельный интеллект — ах! я хочу употребить самое недвусмысленное слово — требуется добродетельная глупость, требуется незыблемый метроном медленного ума, дабы приверженцы великой совокупной веры пребывали совместно и продолжали танцевать свой танец: этого властно требует самая первостепенная нужда. Мы, прочие, суть исключение и опасность — мы вечно нуждаемся в защите! — Что ж, и в пользу исключения можно сказать кое-что, предположив, что оно никогда не

хочет стать правилом.

77

Животное с чистой совестью.

Пошлое во всем том, что нравится на юге Европы — будет это итальянская опера (например, Россини и Беллини) или испанский приключенческий роман (лучше всего доступный нам во французском пересказе “Жиль Блаза”), — не ускользает от меня, но и не оскорбляет меня равным образом как и пошлость, с которою встречаешься, прогуливаясь по Помпее и даже, по сути, читая всякую античную книгу: отчего это происходит? Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и все пошлое выступает столь же надежно и самоуверенно, как нечто благородное, прелестное и исполненное страсти в аналогичного рода музыке или романе? “Животное, как и человек, имеет свои права; пусть же оно бежит себе на воле, а ты, милый мой сородич, тоже еще животное, несмотря ни на что!” — таковой представляется мне типичная и своеобразная мораль южан. Дурной вкус обладает своими правами, как и хороший, и даже некоторым преимуществом перед ним, в случае если он имеет больший спрос, гарантирует удовлетворение и пользуется как бы общим языком и безусловно понятными личинами и жестами; напротив, хороший, изысканный вкус всегда заключает в себе нечто ищущее, рискованное, нечто не вполне уверенное в своей понятности — он никогда не был и не может быть народным! Народною была и остается маска! Так пусть же резвится себе весь этот маскарад в мелодиях и каденциях, в скачках и увеселениях ритма этих опер! Совсем как в античной жизни! Разве понимают что-либо в ней, если не понимают наслаждения маской, чистой совести всегда маскарадного! Здесь омовение и отдохновение античного духа — и, может статься, редким и возвышенным натурам древнего мира омовение это было необходимее, чем пошлым. — Напротив, какой-нибудь пошлый оборот в северных произведениях, скажем в немецкой музыке, оскорбляет меня несказанно. Здесь стыд всегда тут как тут; художник опускался ниже себя и не мог не краснеть при этом: мы стыдимся вместе с ним и чувствуем себя столь оскорбленными, так как догадываемся, что он счел необходимым опуститься ради нас.

78

За что мы должны быть благодарны.

Только художники, и в особенности художники сцены, привили людям зрение и слух, позволяющие им с некоторым удовольствием слышать и видеть, что каждый сам представляет из себя, сам переживает, сам хочет; только они научили нас ценить героя, скрытого в каждом из обыденных людей, и искусству — издали и как бы упрощенно и просветленно взирать на самого себя, как на героя, — искусству “инсценировать себя” перед собой. Лишь таким путем одолеваем мы некоторые присущие нам низменные детали! Без этого искусства мы были бы не чем иным, как передним планом, и жили бы полностью во власти той оптики, благодаря которой ближайшее и пошлейшее выглядит чудовищно укрупненным и как бы самой действительностью. — Быть может, аналогичная заслуга принадлежит и той религии, которая велела рассматривать греховность каждого отдельного человека через увеличительное стекло и превращала грешника в великого бессмертного преступника: расписывая человеку вечные перспективы, она учила его видеть себя издали и как нечто минувшее и целое.

79

Прелесть несовершенства.

Я вижу здесь поэта, который, подобно иным людям, больше привлекает своими несовершенствами, чем всем тем, что выходит из его рук в законченном и совершенном виде, — да, эта его неспособность сулит ему гораздо большую выгоду и славу, чем полнота его сил. Его произведения никогда не высказывают полностью того, что ему, собственно, хотелось бы высказать, что ему хотелось бы увидеть — словно бы он имел всегда предвкушение видения и никогда самого видения: но в душе его осталась необыкновенная тяга к этому видению, и из нее черпает он свою столь же необыкновенную словоохотливость вождения и волчьего аппетита. Ею возносит он своего слушателя над собственным творением и всеми “творениями” и дает ему крылья взлететь на такую высоту, куда еще никогда не взлетали слушатели: и вот, сами ставши поэтами и визионерами, платят они дань удивления виновнику их счастья, словно бы он непосредственно привел их к лицезрению своей святыни и последней тайны, словно бы он достиг своей цели и действительно узрел свое видение и сообщил его другим. Его слава выгадывает от того, что он, собственно говоря, не достигает цели.

80

Искусство и природа.

Греки (или, по крайней мере, афиняне) были безразличны к красноречию — они даже испытывали к этому ненасытное влечение, которое больше, чем что-либо другое, отличает их от не-греков. Посему даже от

сценической страсти требовали они красноречивости и охотно сносили неестественность драматических стихов — ведь в природе страсть столь скупа на слова! столь нема и стеснена! А когда она находит слова, то выглядит, к стыду своему, столь путаной и безрассудной! И вот все мы, благодаря грекам, привыкли к этой искусственности на сцене, как выносим мы, и выносим охотно, благодаря итальянцам, ту другую искусственность — поющую страсть. — Это стало нашей потребностью, которую мы не можем удовлетворить через действительность, — слушать, как складно и обстоятельно говорят люди в труднейших положениях; нас восхищает теперь, когда трагический герой находит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом ясность ума там, где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие. Этот род отклонения от природы является, быть может, приятнейшим лакомством для гордости человека; из-за него-то и любит он вообще искусство, как выражение высокой, героической неестественности и конвенции. Драматического поэта справедливо осыпают упреками, если он не все претворяет в разум и слово, но всегда удерживает при себе какой-то остаток молчания: равным образом испытывают неудовлетворенность и оперным композитором, который способен подобрать для высшего аффекта не мелодию, а всего лишь эмоциональное “естественное” бормотание и выкрикивание. Здесь следует как раз противоречить природе! Здесь как раз пошлая привлекательность иллюзии должна уступить более высокой привлекательности! Греки зашли по этому пути далеко — до ужаса далеко! Подобно тому как они в максимальной степени суживали сцену и запрещали себе всякое воздействие глубиной заднего плана, подобно тому как они лишали актера возможности мимики и свободных движений и превращали его в торжественное, накрахмаленное, маскарадное чучело, так и у самой страсти отнимали они глубину заднего фона и предписывали ей закон изящного слова; они вообще делали все, чтобы противодействовать элементарному воздействию образов, возбуждающих страх и сострадание: они как раз не хотели страха и сострадания — честь и слава Аристотелю! но он, несомненно, не попал в бровь, не говоря уже о глазе, когда говорил о последней цели греческой трагедии! Пусть же рассмотрят греческих трагиков в том, чем главным образом возбуждалось их прилежание, их изобретательность, их соперничество — наверняка уж не намерением потрясать зрителей аффектами! Афинянин шел в театр слушать изящные речи! И об изящных речах шло дело у Софокла! — да простится мне эта ересь! — Совсем иначе обстоит с серьезной оперой: все ее мастера хлопочут о том, чтобы придать своим действующим лицам большую непонятность. “Случайно подобранное слово может прийти на помощь невнимательному слушателю; в целом же ситуация должна сама объяснять себя — речи сами по себе пусты!” — Так думают все они, и так все они валяют дурака со словами. Быть может, им не доставало лишь мужества полностью выразить свое последнее презрение к слову: еще чуточку нахальства у Россини, и он оставил бы для пения сплошное ля-ля-ля-ля, — и это было бы разумно! Оперным персонажам не следовало бы верить “на слово”, с них вполне достаточно и тона! Вот то самое различие, та прекрасная неестественность, ради которой ходят в оперу! Даже *recitativo secco* не хочет, собственно говоря, быть выслушанным как слово и текст: этот род полумузыки должен, скорее, служить музыкальному уху маленькой передышкой (передышкой от мелодии, как самой утонченной, а стало быть, и самой утомительной улады этого искусства), — но очень скоро и чем-то другим, именно: возрастающим нетерпением, возрастающим сопротивлением, новым вожелением к полной музыке, к мелодии. — Что можно сказать с этой точки зрения об искусстве Рихарда Вагнера? Может быть, то же самое? Может быть, нечто иное? Часто мне вот-вот казалось, что слова и музыку его творений следовало бы выучивать наизусть до исполнения: ибо без этого — так казалось мне — не будут услышаны ни слова, ни сама музыка.

81

Греческий вкус.

“Что же здесь прекрасного? — сказал тот землемер после представления “Ифигении”. — Этим ничего не доказывается!” Как будто греки были так уж и далеки от этого вкуса? У Софокла, по крайней мере, “все доказывается”.

82

L'esprit как нечто негреческое.

Греки во всем своем мышлении неопишимо логичны и просты; никогда, по крайней мере за все долгое время их процветания, они не пресыщались этим, что частенько случается с французами, которые весьма охотно делают маленькие прыжки в противоположную сторону и, собственно, лишь в том случае ладят с духом логики, когда он множеством таких маленьких обратных прыжков выказывает свою светскую учтивость, свое светское самоотрицание. Логика представляется им необходимою, как хлеб и вода, но в то же время, подобно последним, оказывается для них некоторого рода тюремной пищей, когда смакуется в чистом и черством виде. В хорошем обществе никогда не следует выставлять себя полностью и единственно правым, как этого требует всякая чистая логика: отсюда маленькая доза неразумия во всяком французском *esprit*. — Чувство общительности у греков было гораздо менее развито, чем у французов теперь и когда-либо: отсюда так мало *esprit* у их остроумнейших людей, отсюда так мало остроумия даже у их острословов, отсюда — ах! уже и этим моим словам не поверят, а

сколько еще подобных слов у меня на душе! — Est res magna tacere — говорит Марциал со всеми болтливыми.

83

Переводы.

Можно оценивать степень исторического чувства, которым обладает данная эпоха, по тому, как в эту эпоху делаются переводы и усваивается дух минувших эпох и книг. Французы времен Корнеля и даже еще времен Революции овладевали римской древностью способом, для которого нам недостает больше мужества — благодаря нашему более высокому историческому чувству. А сама римская древность: сколь властно и в то же время наивно накладывала она свою руку на все хорошее и высокое в более древней греческой древности! Как переводили они ее в самую гущу римской современности! Как умышленно и беспечно стирали они пыль с крылец бабочки — миг! Так, Гораций переводил местами Алкея или Архилоха, а Проперций — Каллимаха и Филета (поэтов одинакового ранга с Феокритом, если только мы вправе судить): что им было до того, что сам творец пережил в себе нечто и вписал в свое стихотворение знаки этого переживания! — как поэты, они были врагами антикварного духа-ищейки, опережающего историческое чувство; как поэты, они не считались с этими совершенно личными вещами и именами и со всем, что, в качества национального костюма и маски, было свойственно какому-нибудь городу, какому-нибудь побережью, какому-нибудь столетию, но на лету подменяли их современным и римским. Они как бы спрашивают нас: “Неужели нам не следовало обновить для себя старину и уложиться в нее самим? Разве мы не вправе вдохнуть нашу душу в это мертвое тело? Ибо теперь оно уже мертво: как отвратительно все мертвое!” — Им было неведомо смакование исторического чувства; прошлое и чуждое было им в тягость и оказывалось для них, как римлян, стимулом к римскому завоеванию. На деле перевод был тогда завоеванием — не только в том смысле, что пренебрегали историческим, — нет, к этому добавляли намек на современное; прежде всего, зачеркивали имя поэта и ставили на его место свое — без какого-либо ощущения воровства, но с пречистой совестью *imperii Romani*.

84

О происхождении поэзии.

Любители всего фантастического в человеке, придерживающиеся в то же время учения об инстинктивной нравственности, судят следующим образом: “Если бы во все времена чтили пользу как высшее Божество, откуда тогда могла бы взяться вол всем мире поэзия? — эта ритмизация речи, которая, скорее, препятствует, чем содействует, ясности высказывания и которая, несмотря на это, бурно произросла и продолжает расти по всей земле, словно некая насмешка над всякой полезной целесообразностью! Девственно прекрасное безрассудство поэзии опровергает вас, утилитаристы! Именно стремление освободиться однажды от пользы и возвысило человека, вдохновив его к нравственности и искусству!” Что ж, я должен здесь однажды польстить утилитаристам — ведь им так редко доводится быть правыми, что просто жалость берет! В те старые времена, которые вызвали к жизни поэзию, дело шло все-таки о пользе, и при этом весьма большой пользе, связанной с тем, что вносили в речь ритм, эту силу, наново упорядочивающую все атомы предложения, вынуждающую выбирать слова, придающую мысли новую окраску и делающую ее более темной, отчужденной, отдаленной: разумеется, то было суеверной полезностью. С помощью ритма человеческая просьба должна была глубже запечатлеться в памяти богов, после того как заметили, что человек лучше запоминает стихи, чем бессвязную речь; равным образом рассчитывали с помощью ритмического отстукивания быть услышанными на более далекие расстояния; ритмизированная молитва, казалось бы, быстрее доходила до слуха богов. Но прежде всего хотели извлечь пользу из той стихийной одержимости, которую человек испытывает на себе при слушании музыки: ритм есть принуждение; он вызывает неодолимую тягу к податливости, соучастию; не только ноги, но и сама душа начинает идти в такт, — предполагалось, что и душа богов! Ритмом, стало быть, тщились принудить их и применить к ним насилие: поэзию набрасывали на них, как магический аркан. Существовало еще одно, более диковинное представление, — и, возможно, именно оно сильнее всего способствовало возникновению поэзии. У пифагорейцев оно появляется как философское учение и воспитательная уловка, но и задолго до философов в музыке видели силу разряжать аффекты, очищать душу, смягчать *ferocia animi* — и именно через ритмическое в музыке. Когда утрачивалась нормальная напряженность и гармония души, приходилось танцевать под такт певца — таков был рецепт этого врачевания. Им Терпандр утихомирил бунт, Эмпедокл унял бесноватого, Дамон очистил любовно-страстного юношу; им же исцеляли и одичавших мстительных богов. Прежде всего тем, что доводили до крайности опьянение и распушенность их аффектов, стало быть, делая одержимого безумным, а мстительного упоенным мстостью: все оргиастические культы сияются внезапно разрядить *ferocia* какого-то божества и превратить ее в оргию, дабы вслед за этим оно чувствовало себя свободнее и спокойнее и оставило человека в покое. Мелос, по своему корню, означает успокоительное средство, не потому, что сам он спокоен, а потому, что успокаивает его воздействие. — И не только в культовых, но и в мирских песнопениях древнейших времен наличествует предпосылка, что ритмическое оказывает магическую силу, скажем, при черпании воды или гребле: песня есть заклинание действующих здесь, демонов, она делает их сговорчивыми, связывает их в

действиях и превращает их в орудие человека. И при любом занятии имеется повод к пеню — всякое занятие свершается при пособничестве духов: заговоры и заклинания — такова, кажется, первоначальная форма поэзии. Если стихи были в употреблении и у оракула — греки говорили, что гексаметр был изобретен в Дельфах, — то и здесь должен был ритм оказывать давление. Прорекаться означает первоначально (по кажущемуся мне вероятным выводу греческого слова): дать назначить себе нечто; надеются принудить будущее тем, что склоняют на свою сторону Аполлона, который, согласно древнейшему представлению, есть нечто гораздо большее, чем только провидящий бог. В момент, когда произносится формула, буквально и достаточно ритмично, она связывает будущее: формула же есть изобретение Аполлона, который, будучи богом ритмов, может связывать также богинь судьбы. — Рассматривая и спрашивая в целом: было ли для старого, суеверного людского рода вообще что-либо более полезное, чем ритм? С ним можно было достигнуть всего: магически содействовать работе; заставить какое-нибудь божество явиться, приблизиться, выслушать; приуготовить себе будущее по своему усмотрению; разрядить собственную душу от какого-либо излишка (страха, мании, сострадания, мстительности), и не только собственную душу, но и душу злейшего из демонов, — без стихов были ничем, со стихами становились почти богом. Это коренное чувство так и не было полностью искоренено, — и еще нынче, по тысячелетнему тщанию избавиться от подобного суеверия, даже мудрейший из нас оказывается при случае в дураках у ритма, хотя бы уже в том одном, что мысль ощущается им более истинной, когда она обладает метрической формой и приходит с божественным приплясом. Разве это не весьма забавно, что серьезнейшие философы, как бы строго ни относились они к этому вообще, все еще апеллируют к поэтическим изречениям, дабы сообщить своим мыслям силу и достоверность? — а между тем для истины опаснее, когда поэт ее одобряет, чем когда он ей противоречит! Ибо, как говорит Гомер: “Много лгут поэты!”

85

Доброе и прекрасное.

Художники вечно прославляют — они и не делают ничего иного, — и прославляют как раз все те состояния и вещи, о которых идет молва, что при них и в них человек может однажды почувствовать себя добрым, или великим, или упоенным, или веселым, или благополучным и мудрым. Эти отборные вещи и состояния, значимость которых для человеческого счастья считается прочно установленной, и суть объекты художников: последние всегда пребывают в засаде, силясь открыть их и перетянуть в область искусства. Я хочу сказать, что не сами они являются оценщиками счастья и счастливого, но что они постоянно торчат в окружении Этих оценщиков, полные величайшего любопытства и желания тотчас же воспользоваться их оценками. Поскольку же они, кроме нетерпения, обладают вдобавок глубокими легкими герольдов и ногами скороходов, то они оказываются всегда в числе первых прославителей нового блага и зачастую кажутся людьми, впервые назвавшими его благом и оценившими его как благо. Но это, как сказано, — заблуждение: они лишь более проворны и более крикливы, чем действительные оценщики. — Кто же они, эти действительные оценщики? — Богатые и праздные люди.

86

О театре.

Сегодняшний день вновь подарил мне сильные и высокие чувства, и будь мне этим вечером дано насладиться музыкой и искусством, я бы наверняка знал, какой музыки и какого искусства мне не хочется, именно: всякого такого, которое тщится опьянить своих слушателей и взвинтить их до мгновения сильного и высокого чувства — этих людей будничной души, схожих в вечерние часы не с победителями на триумфальных колесницах, а с усталыми мулами, которых жизнь слишком уж часто стегала плетью. Что вообще знали бы о “более высоких настроениях” эти люди, не будь опьяняющих средств и идеальных подстегиваний плетью! — и вот же, у них есть свои вдохновители, подобно тому как у них есть свои вина. Но что мне до их напитков и их опьянения! Зачем вдохновленному вино! Скорее, он смотрит с некоторым отвращением на средства и на посредников, которые должны вызвать здесь какое-то действие без достаточного основания — обезьянье передразнивание высокого прилива души! — Как? Кроту дарят крылья и гордое воображение — перед сном, прежде чем он заползет в свою нору? Его посылают в театр и приставляют увеличительные стекла к его слепым и утомленным глазам? Люди, чья жизнь не “поступок”, а только гешефт, сидят перед подмостками и глазят на чужеродных существ, для которых жизнь есть нечто большее, чем гешефт? “Так оно и подобает, — говорите вы, — это так занимательно, этого требует образование!” — Что ж! Значит, мне слишком уж часто недостает образования, ибо слишком уж часто это зрелище вызывает во мне чувство гадливости. Кто в себе самом не испытывает недостатка в трагедии и комедии, тот охотно держится подальше от театра; или, в виде исключения, весь ход событий — включая театр, публику и поэта — оборачивается для него собственным трагическим и комическим спектаклем, так что сама поставленная пьеса мало волнует его. Кто сам есть нечто вроде Фауста и Манфреда, что ему до театральных Фаустов и Манфредов! — кроме разве мысли о том, что в театре вообще изображаются подобные типы. Сильнейшие мысли и страсти перед теми, кто не способен ни к мысли, ни к страсти, — лишь к опьянению! И

первые как средство к последнему! Театр, как и музыка, — курение гашиша и жевание бетеля европейцев! О, кто расскажет нам всю историю наркотиков! — это почти история “образования”. Так называемого высшего образования!

87

О тщеславии художников.

Полагаю, что художники часто не знают, что им лучше всего удастся, ибо они слишком тщеславны, и их чувство обращено к чему-то более гордому, чем, по-видимому, являются эти маленькие растения, которые умеют в действительном совершенстве, неизведанно, причудливо, прекрасно расти на своей почве. Настоящий дар их собственного сада и виноградника оценивается ими невзначай, и их любовь принадлежит к иному порядку, чем их пронизательность. Вот музыкант, который больше, чем какой-либо другой, обладает мастерством извлекать звуки из царства страждущих, угнетенных, измученных душ и одарять речью даже немых зверей. Никто не сравнится с ним в красках поздней осени, в неопишимо трогательном счастье последнего, ускользающего, мимолетнейшего наслаждения; ему ведомы звуки для тех таинственно зловещих полуночей души, когда, казалось бы, распадается связь между причиной и действием и в каждое мгновение может возникнуть нечто “из ничего”; он удачнее всего черпает с самого дна человеческого счастья и словно бы из опорожненного кубка его, где горчайшие и противнейшие капли за здоровье и за упокой слились со сладчайшими; он знает, как устало влачится душа, которая уже не может прыгать и летать, не может даже ходить; в него робкий взгляд затаенной скорби, безутешного понимания, разлуки без объяснения; да, как Орфей всякого таинственного убожества, он выше кого-либо, и им впервые было вообще внесено в искусство нечто такое, что до сих пор казалось невыразимым и даже недостойным искусства, что словами можно было только спугнуть, а не поймать, — нечто совсем крохотное и микроскопическое в душе: да, он мастер по части совсем крохотного, Но он не хочет быть им! Его натура любит, скорее, большие стены и отважную фресковую живопись! Он не видит того, что его дух обладает иным вкусом и склонностью и любит больше всего уютиться в уголках развалившихся домов: там, скрытый, скрытый от самого себя, пишет он свои подлинные шедевры, которые все очень коротки, часто лишь в один такт, — там лишь становится он вполне искусным, великим и совершенным, может быть, только там. — Но он не знает этого! Он слишком тщеславен, чтобы знать это.

88

Серьезность в отношении истины.

Серьезность в отношении истины! Сколько много различного разумеют люди под этими словами! Одни и те же воззрения и способы доказательства и проверки, воспринимаемые каким-нибудь мыслителем как легкомыслие, которому он, к стыду своему, поддается в то или иное время, — эти же воззрения в каком-либо художнике, натолкнувшемся на них и временно увлекшемся ими, могут навести его на мысль о том, что теперь им овладела глубочайшая серьезность в отношении истины и что достойно удивления, каким образом он, хотя и художник, выказывает столь серьезное стремление к тому, что является противоположностью иллюзорного. Итак, вполне возможно, что некто именно пафосом своей серьезности выдает, сколь поверхностно и невзыскательно витал доселе его дух в царстве познания. — И разве не оказывается все то, что представляется нам весомым, нашим предателем? Оно показывает, что мы в состоянии взвесить и для чего именно мы не обладаем никакими весами.

89

Теперь и прежде.

К чему нам все наше искусство произведений искусства, если мы лишаемся того более высокого искусства — искусства празднеств! Прежде все произведения искусства выставлялись на большой праздничной улице человечества, как памятки и памятники высоких и блаженных моментов. Нынче же хотят произведениями искусства совлечь бедных, истощенных и больных с большой страждущей улицы человечества ради одного похотливого мгновеньца; им предлагают маленькое опьянение и безрассудство.

90

Свет и тени.

Книги и записи у различных мыслителей совершенно различны: один собрал в книге свет, который он наспех сумел похитить у лучей светящего ему познания и унести домой; другой передает только тени, серые и черные послеобразы того, что накануне встало в его душе.

91

Предостережение.

Альфьери, как известно, изрядно налгал, рассказывая удивленным современникам историю своей жизни. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, каковой он, к примеру, выказал, когда создавал собственный язык и тиранически вымучивал в себе поэта; в конце концов ему удалось найти строгую форму возвышенного, в которую он втиснул свою жизнь и свою память: должно быть, это стоило больших мучений. — Я несколько не поверил бы и биографии Платона, им самим написанной; равным образом и Руссо или Дантовой *vita nuova*.

92

Проза и поэзия.

Однако вспомните, что великие мастера прозы почти всегда были и поэтами, публично или только украдкой и “взаперти”; и поистине, хорошую прозу пишут только перед лицом поэзии! Ибо проза есть непрерывная учтивая война с поэзией: вся ее прелесть состоит в том, что она постоянно избегает поэзии и противоречит ей; каждая абстракция хочет обернуться плутовством в отношении поэзии и как бы насмешливым тоном; каждая сухость и холодность рассчитана на то, чтобы повергнуть милую Богиню в милое отчаяние; часто случаются сближения. Мгновенные примирения и тотчас же внезапный отскок и хохот; часто подымается занавес и впускается резкий свет как раз в тот момент, когда Богиня наслаждается своими сумерками и матовыми цветами; часто срывают слово прямо с ее уст и распевают его на такой мотив, что она нежными руками придерживает нежные ушки, — и есть еще тысячи прочих удовольствий войны, включая поражения, о которых непоэтические, так называемые прозаичные люди и знать ничего не знают: на то они и говорят только дурной прозой! Война есть мать всех хороших вещей, война есть также мать хорошей прозы! — Это столетие насчитывает четырех весьма необычных и истинно поэтических писателей, достигших в прозе такого мастерства, для которого не созрело еще это столетие — из-за недостатка поэзии, как было указано. Отвлекаясь от Гете, к которому по справедливости апеллирует породившее его столетие, я вижу только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ралфа Уолдо Эмерсона и Уолтера Сэведжа Лендора, автора *Imaginary conversations*, как достойных называться мастерами прозы.

93

Так зачем же ты пишешь?

А: Я не принадлежу к тем, кто мыслит с непросохшим пером в руке, и еще менее к тем, кто полностью отдается страстям перед чернильницей, сидя на своем стуле и глаза на бумагу. Я злюсь или стыжусь всякого писания; писание для меня естественная потребность — мне противно говорить об этом даже в сравнениях. Б: Так зачем же ты тогда пишешь? А: Н-да, мой дорогой, между нами говоря, я до сих пор не нашел еще другого средства избавиться от своих мыслей. Б: А зачем хочешь ты избавиться от них? А: Зачем я хочу? Хочу ли я? Я должен. — Б: Довольно! Довольно!

94

Посмертный рост.

Та маленькая отважная речь о нравственных делах, которую Фонтенель набросал в своих бессмертных “Разговорах в царстве мертвецов”, считалось в его время собранием парадоксов и игрою неблагонадежного остроумия; даже высшие судьи вкуса и ума не принимали ее уже во внимание, — возможно, и сам Фонтенель. Теперь происходит нечто невероятное: эти мысли становятся истинами! Наука доказывает их! Игра принимает серьезный оборот! И мы читаем эти диалоги с иным ощущением, чем читали их Вольтер и Гельвеций, и невольно возводим их автора в иной и гораздо более высокий ранг умов, чем это делали его современники, — правы ли мы? неправы ли?

95

Шамфор.

Что как раз такой знаток людей и толпы, как Шамфор, спешил на выручку толпе, а не оставался в стороне в философском самоотречении и обороне, это я могу объяснить себе не иначе как следующим образом: инстинкт в нем был сильнее его мудрости и никогда не был удовлетворен, инстинкт ненависти ко всякому знатному происхождению: быть может, старая, слишком понятная ненависть его матери, священной заговорившая в нем из любви к матери, — инстинкт мести, затаившийся в нем с детских лет и ждущий удобного момента отомстить за мать. И теперь жизнь и гений его и, ах! всего сильнее отцовская кровь в его жилах — в течение многих, многих лет — соблазняли его примкнуть именно к этой знати и сравняться с нею! В конце концов, однако, ему стал невыносим его собственный вид, вид “старого человека” при старом режиме; пылкое, страстное покаяние охватило его, и в этом состоянии он облачился в плебейскую одежду, как своего рода власяницу! Упущенная

мечь обернулась ему нечистой совестью. Оставайся тогда Шамфор хоть на один градус больше философом, революция не получила бы своей трагической остроты и своего самого колючего жала: она выглядела бы гораздо более глупым событием и не оказалась бы таким соблазном умов. Но ненависть и мечь Шамфора воспитали целое поколение: эту школу прошли и сиятельнейшие особы. Подумайте-ка над тем, что Мирабо смотрел на Шамфора как на свое высшее и старшее Я, от которого он ждал побуждений, предостережений и приговоров, терпеливо снося их, — Мирабо, принадлежащий, как человек, к совершенно иному рангу величия, чем даже первые среди государственных величин вчерашнего и сегодняшнего дня. — Странно, что, несмотря на такого друга и заступника — сохранились даже письма Мирабо к Шамфору, — этот остроумнейший из всех моралистов остался чужд французам, не иначе как и Стендаль, который, быть может, среди всех французов этого столетия обладал умнейшими глазами и ушами. Оттого ли, что последний, в сущности, заключал в себе слишком много немецкого и английского, чтобы быть еще сносным для парижан? — тогда как Шамфор, человек, богатый душевными глубинами и подоплеками, угрюмый, страдающий, пылкий, — мыслитель, считавший смех необходимым лекарством от жизни и полагавший едва ли не потерянным каждый день, когда он не смеялся, — выглядящий, скорее, итальянцем и кровником Данте и Леопарди, чем французом! Известны последние слова Шамфора: “Ah! Mon ami, — сказал он Сьейесу, — je m’en vais enfin de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze”. Это наверняка не слова умирающего француза!

96

Два оратора.

Из этих двух ораторов один лишь тогда в полной мере овладевает своим делом, когда предается страсти: только она перекачивает достаточно крови и жару в его мозг, чтобы принудить его высокую духовность к откровению. Другой силится временами достичь того же, произнося свою речь страстно, громко, пылко и увлекательно, — и терпит по обыкновению неудачу. В таких случаях он очень скоро начинает говорить темно и запутанно, преувеличивает, делает пропуски и возбуждает недоверие к разумности своей речи; он и сам ощущает это недоверие и так объясняет себе внезапные скачки к холодному и отталкивающему тону, который вызывает в слушателе сомнение в искренности его страстей. У него всякий раз ум затопляется страстью: возможно, потому что она в нем сильнее, чем у первого. Но он достигает высоты своих сил, когда противостоит бурному натиску чувства и как бы насмехается над ним. Тогда и выступает весь его ум из засады — логичный, насмешливый, игривый и страшный ум.

97

О болтливости писателей.

Есть болтливость гнева — часто у Лютера, также у Шопенгауэра. Болтливость из чересчур большого запаса понятийных формул, как у Канта. Болтливость из любви к постоянно новым оборотам речи по поводу одного и того же предмета: ее находят у Монтеня. Болтливость язвительных натур: кто читает современные произведения, вспомнит при этом о двух писателях. Болтливость из любви к добротным словам и языковым формам: нередко в прозе Гете. Болтливость из чистой склонности к шуму и неразберихе чувств: например, у Карлейля.

98

Во славу Шекспира.

Самое прекрасное, что я мог бы сказать во славу Шекспира, человека, есть следующее: он поверил Бруту и не бросил ни одной пылинки недоверия на этого рода добродетель! Ему он посвятил лучшую свою трагедию — она и поныне называется все еще ложным именем, — ему и ужаснейшему воплощению высокой морали. Независимость души — вот о чем идет здесь речь! Никакая жертва не может здесь быть слишком большой: нужно уметь принести в жертву этому даже лучшего друга, будь он к тому же великолепнейший человек, украшение мира, гений, не имеющий равных себе, — пожертвовать им тогда именно, когда любишь свободу, как свободу великих душ, а от него этой свободе грозит опасность: нечто подобное должен был чувствовать Шекспир! Высота, на которую он возносит Цезаря, есть самая тонкая честь, какую он мог оказать Бруту: лишь таким образом возводит он его внутреннюю проблему в чудовищную степень, а равным образом и душевную силу, способную бы разрубить этот узел! — Но была ли то действительно политическая свобода, которая исполнила этого поэта сочувствия к Бруту — сделала его сообщником Брута? Или политическая свобода была лишь символическим чем-то невыразимым? Быть может, мы стоим перед каким-то неизвестным темным событием и авантюрой из жизни собственной души поэта, о чем он мог говорить только символами? Что значит вся гамлетовская меланхолия перед меланхолией Брута! — и, может быть, и ее знал Шекспир, как он знал ту, из личного опыта! Может быть, и у него были свои мрачные часы и свой злой ангел, как и у Брута! — Но каковы бы ни были сходства и таинственные связи, перед цельностью облика и добродетелью Брута Шекспир падает ниц и

чувствует себя недостойным и чуждым этого: свидетельство тому он вписал в свою трагедию. Дважды вывел он в ней поэта, и оба раза окатил его таким нетерпеливым и окончательным презрением, что это звучит как крик — крик самопрезрения. Брут, даже Брут теряет терпение, когда входит поэт, чванный, напыщенный, назойливый, какими поэты по обыкновению и бывают, словно некое существо, кажущееся битком набитым возможностями величия, в том числе и нравственного величия, и все же редко доводящее его в философии жизненных поступков до хотя бы обыкновенной честности. “Терплю я шутовство в другое время. Война не дело этих стихоплетов. — Любезный, прочь!” — восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, сочинившего их.

99

Последователи Шопенгауэра.

То, что доводится видеть при соприкосновении культурных народов с варварами, когда низшая культура поначалу последовательно заимствует у высшей ее пороки, слабости и излишества, затем отдается их соблазнам и, наконец, через посредничество усвоенных пороков и слабостей перенимает и некоторую толику подлинной силы высшей культуры, — это можно изучать и здесь, не путешествуя в варварские страны, конечно, в несколько утонченном, одухотворенном и не столь осязательном виде. Что же обыкновенно и первым делом перенимают последователи Шопенгауэра в Германии от своего учителя? — те самые, которые сравнительно с его преимущественной культурой должны казаться себе достаточными варварами, чтобы чисто по-варварски поддаться на первых порах ее очарованию и соблазнам. Его ли резкое чутье на факты, его ли взыскание ясности и ума, придающее ему часто столь английскую и столь мало немецкую статью? Или силу его интеллектуальной совести, выдержавшую пожизненное противоречие между бытием и волей и принуждавшую его постоянно и почти в каждом пункте противоречить себе и в сочинениях? Или его чистоту в вопросах церкви и христианского Бога? — ибо здесь он был чист, как ни один из немецких философов до него, так что он жил и умер “вольтерьянцем”. Или его бессмертное учение об интеллектуальности созерцания, об априорности закона причинности, об орудийной природе интеллекта и несвободе воли? Нет, все это не очаровывает и не ощущается чарующим: но вот мистические увертки Шопенгауэра в тех местах, где опирающийся на факты мыслитель позволяет совращать и портить себя тщеславному влечению быть разгадчиком мира, недоказуемое учение о единой воле (“все причины суть только случайные причины появления воли в данное время на данном месте”, “воля к жизни во всяком существе, даже самом ничтожном, наличествует вполне и безраздельно, столь же полно, как и во всех, которые когда-либо были, суть и будут, вместе взятых”), отрицание индивида (“все львы суть, в сущности, лишь один лев”, “множественность индивидов есть видимость”; в равной мере и развитие есть лишь видимость — он называет мысли Ламарка “гениальным абсурдным заблуждением”), грезы о гении (“в эстетическом созерцании индивидуум не есть уже индивидуум, но чистый, безвольный, свободный от страдания и от времени субъект познания”, “субъект, вполне растворяясь в созерцаемом предмете, становится сам этим предметом”), бессмыслица о сострадании и об осуществляемом в нем прорыве *principii individuationis* как источнике всякой моральности, добавим сюда и такие положения: “Смерть есть настоящая цель бытия”, “*a priori* не может быть прямо отрицаема возможность магического действия, исходящего от уже умершего” — эти и подобные распутства и пороки философа всегда принимаются прежде всего и делаются предметом веры: пороком и распутствам всегда легче всего под жать, и они не требуют долгой подготовки. Но поговорим о знаменитейшем из живущих шопенгауэрианцев, о Рихарде Вагнере. — С ним случилось то, что уже случалось со многими художниками: он ошибся в толковании созданных им образов и не опознал невыраженную философию собственного искусства. Рихард Вагнер до самой середины своей жизни был сбиваем с толку Гегелем; с ним еще раз произошло то же самое, когда он позже вычитал учение Шопенгауэра из своих образов и начал формулировать самого себя в терминах “воли”, “гения” и “сострадания². Несмотря на это, истинным останется то, что ничто не идет так вразрез с духом Шопенгауэра, как собственно вагнеровское в героях Вагнера, — я имею в виду невинность высочайшего себялюбия, веру в великую страсть, как в нечто само по себе хорошее, одним словом, зигфридовское в облике его героев. “Все это пахнет скорее Спинозой, чем мною”, — сказал бы, возможно, Шопенгауэр. Таким образом, сколь бы достаточны ни были основания, по которым Вагнеру следовало высматривать себе как раз других философов, а не Шопенгауэра, очарование, которому он подпал в связи с этим мыслителем, сделало его слепым не только ко всем другим философам, но даже к самой науке; его искусство все больше стремится выдать себя за подобие и дополнение шопенгауэровской философии, и все выразительнее отрекается оно от более высокого честолюбия стать подобием и дополнением человеческого познания и науки. И к этому совращает его не только вся таинственная роскошь названной философии, которая совратила бы и какого-нибудь Калиостро: соблазнительными были всегда даже отдельные жесты и аффекты философов! Шопенгауэровской является, например, вагнеровская горячность в связи с порчей немецкого языка; и если это подражание следовало одобрить, то не может быть умолчано и то, что стиль самого Вагнера не в малой степени страдает нарывами и опухольями, один вид которых приводил Шопенгауэра в такое бешенство, и что в отношении пишущих по-немецки вагнерианцев вагнерщина начинает выказывать себя столь опасным образом, как выказывала себя разве что какая-нибудь гегельщина. Шопенгауэровской является и ненависть Вагнера к евреям, которым он не способен воздать справедливости в самом великом их деле: ведь евреи суть изобретатели

христианства! Шопенгауэровской является попытка Вагнера истолковать христианство, как завешанное зерно буддизма, и предуготовить Европе, путем временного сближения с католически-христианскими формулами и ощущениями, буддийскую эпоху. Шопенгауэровской является проповедь Вагнера в пользу милосердия к животным; предшественником Шопенгауэра в этом был, как известно, Вольтер, который, возможно, уже умел, подобно своим последователям, маскировать свою ненависть к известного рода вещам и людям милосердием к животным. По крайней мере, ненависть Вагнера к науке, звучащая в его проповеди, внушена отнюдь не духом мягкосердечия и кротости — ни, тем паче, как это разумеется само собой, вообще духом. — В конце концов философия художника мало что значит, если она представляет собою как раз философию задним числом и не причиняет никакого вреда самому его искусству. Было бы достаточно опрометчивым невзлюбить художника из-за какого-то случайного, крайне неудачного и надменного маскарада; не будем все-таки забывать, что милые художники вместе и порознь суть немножко актеры, и должны быть актерами, и едва ли протянули бы долго без лицедейства. Останемся верными Вагнеру в том, что есть в нем подлинного и самобытного, — и тем именно, что мы, его ученики, останемся верными себе в том, что есть в нас самих подлинного и самобытного. Оставим ему все его интеллектуальные прихоти и конвульсии и рассудим лучше по справедливости, какое диковинное питание и какие потребности вправе иметь искусство, подобное его искусству, чтобы быть в состоянии жить и расти! Ничего страшного в том, что, как мыслитель, он бывает кругом неправ; справедливость и терпение — не его дело. Достаточно и того, что его жизнь права перед собою и остается таковой: эта жизнь, которая взывает к каждому из нас: “Будь мужчиной и следуй не за мной, а за собой! сам за собой!” И наша жизнь должна оказаться права перед нами! И мы должны свободно и бесстрашно, в невинной самостийности расти и расцветать из самих себя! И вот, при размышлении об этом человеке, у меня еще и сегодня, как и прежде, звучат в ушах следующие слова: “что страсть лучше стоицизма и лицемерия, что быть честным, даже во зле, лучше, чем утратить себя, подчиняясь традиционной морали, что свободный человек равно может быть и добрым и злым, но что человек несвободный — позор для природы и для него нет ни земного, ни небесного утешения, что, наконец, каждый, кто хочет быть свободным, должен достигнуть этого сам и что свобода никому не падает в руки, как чудесный дар” (“Рихард Вагнер в Байрейте” I 431).

100

Учиться почитанию.

И почитанию должны люди учиться, как и презрению. Каждый, идущий новыми путями и многих ведущих новыми путями, с удивлением обнаруживает, сколь нерасторопны и убоги эти многие в изъяснениях своей благодарности и сколь редко вообще может изъясняться благодарность. Словно бы всякий раз, когда она собирается заговорить, что-то застревает в горле, так что она лишь покашливает и, покашливая. Снова умолкает. Способ, которым мыслителю приходится проследивать воздействие своих мыслей и их преобразующую и сотрясающую силу, граничит почти с комедией: подчас ему кажется, что те, кто подвергся его влиянию, чувствуют себя, в сущности, оскорбленными этим и способны обнаруживать свою оспариваемую, по их опасениям, самостоятельность лишь во всякого рода неучтивостях. Нужны целые поколения, чтобы придумать хотя бы вежливую конвенцию благодарности, и только гораздо позднее наступает момент, где даже в благодарность вносится некоторого рода ум и гениальность. Тогда здесь обыкновенно фигурирует и тот, кто является великим стяжателем благодарности не только за то, что он сам сделал хорошего, но главным образом за то, что постепенно скапливалось его предшественниками, как сокровище высшего и лучшего.

101

Вольтер.

Повсюду, где был какой-либо двор, задавал он тон изысканной речи, а вместе и норму стиля для всех пишущих. Но придворный язык есть язык царедворца, не имеющего никакой профессии и запрещающего самому себе в разговорах на научные темы все удобные технические выражения, поскольку они отдают профессией; оттого техническое выражение и все, что выдает специалиста, оказывается в странах придворной культуры неким пятном на стиле. Нынче, когда все дворы стали карикатурами вообще, достойно удивления, что сам Вольтер в этом пункте обнаруживает необыкновенную чопорность и педантичность (например, в своем суждении о таких стилистах, как Фонтенель и Монтескье), — мы все уже освобождены от придворного вкуса, в то время как Вольтер был его завершителем.

102

Слово к филологам.

Есть книги, столь значительные и царственные, что целые поколения ученых используются на то, чтобы их радениями книги эти сохранялись в чистом и понятном виде, — для постоянного упрочнения этой веры и существует филология. Она предполагает, что нет недостатка в тех редкостных людях (даже если они и

остаются в тени), которые действительно умеют пользоваться столь значительными книгами: это, должно быть, те, которые сами пишут или смогли бы писать подобные книги. Я хочу сказать, что филология имеет предпосылкой благородную веру — в то, что ради некоторых немногих, которые всегда “придут” и которых нет налицо, должно заведомо справиться с громадным количеством мучительной, даже неопрятной работы: все это работа in usum Delphinorum.

103

О немецкой музыке.

Немецкая музыка нынче уже потому превосходит всякую другую европейскую музыку, что в ней одной получила выражение перемена, испытанная Европою вследствие революции: только немецкие музыканты знают толк в выражении волнующихся народных масс, в том чудовищном искусственном шуме, который даже не нуждается в том, чтобы быть слишком громким, — тогда как, например, итальянская опера знает лишь хоры прислуги или солдат, но не 2Народа”. Сюда присоединяется и то, что во всей немецкой музыке слышится глубокая бюргерская ревность к знати, в особенности к esprit и elegance как к выражению придворного, рыцарского, старого, уверенного в самом себе общества. Это вовсе не та музыка, что музыка гетевского певца у врат, которая нравится и “в зале”, т. е. самому королю; вот уж где нельзя сказать: “С отвагой рыцари глядят, и взор склонили дамы”. Уже грация выступает не без припадка угрызений совести в немецкой музыке; лишь с появлением привлекательности (Anmut), сельской сестры грации, начинает немец чувствовать себя вполне морально, — и с этого момента все больше и больше, вплоть до своей мечтательной, ученой, часто косолапой “возвышенности”, бетховенской возвышенности. Если хотят примыслить человека к этой музыке, что ж. пусть представят себе именно Бетховена, каким он предстает рядом с Гете хотя бы при ой встрече в Теплице: как полуварварство рядом с культурой, как народ рядом со знатью, как человек с хорошими задатками рядом с хорошим и более чем “хорошим” человеком, как фантазер рядом с художником, как нуждающийся в утешении рядом с утешенным, как враль и темная личность рядом со справедливым, как чужак и самоистязатель, как дурачки-упоенный, блаженно-несчастливый, прямодушно-невоздержанный, как чванливец и увалень — и, оптом, как “необузданный человек”: таким ощущал и описывал его сам Гете, Гете, этот немец-исключение, к которому еще не подыскана достойная музыка! — В конце концов подумайте еще о том, не следует ли признать это и теперь все еще распространяющееся среди немцев презрение к мелодии и захирение чувства мелодии за дурную демократическую привычку и следствие революции. Ведь мелодии присуща такая явная любовь к законности и такое отвращение ко всему становящемуся, неоформленному, произвольному, что она звучит каким-то отзвуком прежнего распорядка дел в Европе и как бы неким соблазном обратного к нему возвращения.

104

О звучании немецкого языка.

Известно, откуда происходит немецкий язык, который вот уже около двух-трех столетий является общенемецким литературным языком. Немцы с их почтительным отношением ко всему, что исходило от двора, старательно брали себе за образец канцелярщину во всем, чего только им ни приходилось писать, стало быть, в письмах, грамотах, завещаниях и т. д. Писать по-канцелярски значило писать по-придворному и по-правительственному — в этом было что-то благородное по сравнению с тем расхожим городским языком, на котором обычно говорили. Постепенно отсюда сделали выводы и стали говорить так, как писали, — это придавало больше благородства в словесных формах, в выборе слов и оборотов и, наконец, в самом звучании: говоря, подделывались под придворное звучание, и подделывание в конце концов стало природой. Возможно, подобного явления — преобладания литературного стиля над расхожею речью и всенародного кривлянья и важничанья как основы общего, а не только диалектального языка — нигде не наблюдалось в полной мере. Я думаю, звучание немецкого языка в Средние века и в особенности после Средневековья было глубоко крестьянским и вульгарным: оно несколько облагородилось в последние столетия, главным образом через то, что чувствовали себя принужденными столь усердно подражать французским, итальянским и испанским звучаниям, и именно со стороны немецкого (и австрийского) дворянства, которое никак не могло довольствоваться родным языком. Но для Монтеня или даже Расина немецкий язык, несмотря на эту выучку, должен был звучать невыносимо пошло, и даже теперь, в устах путешественника, среди итальянской черни звучит он все еще весьма сыро, по-лесному, сипло, словно бы исходя из закоптелых комнат и нецивилизованных местностей. — И вот я замечаю, что нынче снова среди прежних поклонников канцелярщины распространяется аналогичное стремление к аристократичности звучания и что немцы начинают прилаживаться к совсем особенному “звуковому очарованию”, которое могло бы надолго стать настоящей угрозой для немецкого языка, — ибо тщетно стали бы искать в Европе более отвратительных звучаний. Нечто насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное в голосе: это нынче звучит для немца “благородно” — и претензия на эту благородность слышится мне в голосах молодых чиновников, учителей, женщин, торговцев; даже маленькие девочки подражают уже этому офицерски-немецкому языку. Ибо офицер, да к тому же прусский, есть изобретатель этого звучания — тот самый офицер,

который, как военный и профессионал, обладает тем достойным удивления тактом скромности, которому след бы поучиться решительно всем немцам (включая немецких профессоров и музыкантов!). Но стоит лишь ему начать говорить и двигаться, как он оказывается самой нахальной и самой противной фигурой в старой Европе — сам того не сознавая, без всякого сомнения! Не сознают этого и славные немцы, дивящиеся в нем человеку первостепенного и аристократичнейшего общества и охотно позволяющие ему “задавать тон”.. Этим-то он и занят! — и тону его подражают прежде всего фельдфебели и унтер-офицеры, делающие его еще более грубым. Обратите внимание на командные выкрики, которыми прямо-таки вырываются немецкие города, теперь, когда у всех ворот занимаются строевой подготовкой: какая чванливость, какое бешеное чувство авторитета, какая насмешливая холодность вызвучивается в этом реве! Неужели немцы и в самом деле музыкальный народ? — Несомненно, что немцы нынче милитаризуются в звучании своего языка: по всей вероятности, выучившись говорить по-военному, они примутся вконец и пи сать по-военному. Ибо привычка к определенным звучаниям внедряется глубоко в характер: в скором времени появятся слова и обороты, а в итоге и мысли как раз впору этим звучаниям! Может быть, и теперь уже пишут по-офицерски; может быть, я слишком мало читаю из того, что пишут теперь в Германии. Но одно знаю я наверняка: официальные немецкие сообщения, проникающие и за границу, инспирированы не немецкой музыкой, но как раз этим новым звучанием безвкусного высокомерия. Почти в каждой речи первого немецкого сановника, и даже тогда, когда он вещает в свой кайзеровский рупор слышится акцент, от которого с отвращением уклоняется ухо иностранца: но немцы выносят его — они выносят самих себя.

105

Немцы как художники.

Если немец однажды действительно предается страсти (а не только по обыкновению из доброй воли к страсти!), то он ведет себя в ней, как следует, и не думает больше о своем поведении. Истина, однако, в том, что он ведет себя тогда весьма нерасторопно и скверно, как бы без такта и мелодии, так что очевидцы испытывают при этом муку либо умиление, не больше, — другое дело, если он воспаряет в возвышенное и восторженное, на что способны иные страсти. Тогда даже немец становится прекрасным! Предчувствие того, на какой высоте начинает красота изливать даже на немцев свое очарование, влечет немецких художников ввысь и того выше, в разгул страсти: стало быть, действительной глубокое стремление выйти из скверного и нерасторопного состояния, по крайней мере, выглянуть — туда, в лучший, более легкий, более южный, более солнечный мир. И оттого часто их конвульсии оказываются признаками того, что им хочется танцевать: этим бедным медведям, в которых подвизаются скрытые нимфы и лесные боги — а подчас и более высокие божества!

106

Музыка как заступница.

“Мне позарез нужен мастер музыки, — сказал один новатор своему ученику, — чтобы он перенял у меня мои мысли и впредь выражал их на своем языке: так я лучше проникну в уши и сердца людей. Музыкой можно совратить людей ко всякому заблуждению и всякой истине: кому удалось бы опровергнуть тон?” — “Значит, ты хотел бы считаться неопровержимым?” — сказал его ученик. Новатор возразил: “Я хотел бы, чтобы росток стал деревом. Чтобы учение стало деревом, надо долгое время верить в него; чтобы верить в него, надо считать его неопровержимым. Дереву нужны бури, сомнения, черви, злоба, чтобы оно выявило породу и силу своего роста; пусть оно сломится, если оно недостаточно сильно! Но росток всегда только уничтожается — не опровергается!” — Когда он сказал это, ученик порывисто воскликнул: “Но я верю в твоё дело и считаю его столь крепким, что выскажу решительно все, что лежит у меня еще против него на сердце”. — Новатор посмеялся про себя и погрозил ему пальцем. “Такого рода ученики, — сказал он затем, — лучше всех, но они опасны, и не всякое учение выдержит их”.

107

Наша последняя благодарность искусству.

Если бы мы не одобряли искусств и не изобрели подобного культа недействительного, то сознание всеобщей недействительности и лживости, внушаемое нам теперь наукой, — сознание о мираже и заблуждении, как условии всего познаваемого и воспринимаемого бытия, — было бы совершенно невыносимым. Честность привела бы нас к отвращению и самоубийству. Но вот честности нашей противостоит неприятель, помогающий нам увернуться от таких выводов: искусство, как добрая воля к иллюзии... Мы не всегда препятствуем нашему глазу закруглять, уплотнять до конца: и тогда то, что мы несем через поток бытия, не выглядит уже извечным несовершенством, — тогда мы мним, что несем Богиню, и по-детски гордимся этим служением. Как эстетический феномен, наше существование все еще сносно для нас, и искусством даны нам глаза и руки и прежде всего чистая совесть для того, чтобы мы смогли из самих себя сотворить такой феномен. Нам следует

время от времени отдыхать от самих себя, вглядываясь в себя извне и сверху, из артистической дали, смеясь над собою или плача над собою: мы должны открыть того героя и вместе того дурня, который притаился в нашей страсти к познанию; мы должны время от времени веселиться нашей глупости, дабы остаться веселыми и в нашей мудрости! И именно потому что мы, в конце концов, тяжелые и серьезные люди, и больше гири, чем люди, то ничто не доставляет нам такого удовольствия, как дурацкий колпак: он нужен нам для нас самих — всем нам потребно озорное, порхающее, танцующее, насмешливое, ребячливое и блаженное искусство, дабы не лишиться той свободы над вещами, которой требует от нас наш идеал. Для нас это было бы рецидивом — с нашей раздражительной честностью вполне уткнуться в мораль и ради тех сверхстрогих требований, которые мы в ней ставим себе, стать вполне добродетельными чудищами и чучелами. Мы должны смочь встать и над моралью, и не только стоять с трусливой одеревенелостью человека, страшась каждого мгновение соскользнуть с нее и упасть, но и парить над нею и играть! Как бы смогли мы для этого обойтись без искусства, без того, чтобы не валять дурака? — И покуда вы хоть как-то еще стыдитесь самих себя, вы еще не принадлежите к нам!

ТРЕТЬЯ КНИГА¹⁰⁸

Новые схватки.

После того как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень в одной пещере — чудовищную страшную тень. Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. — И мы — мы должны победить еще и его тень!

109

Остережемся!

Остережемся думать, что мир есть живое существо, Куда бы он тогда простирался? Чем бы питался? Как мог бы он расти и размножаться? Мы ведь знаем приблизительно, что такое органическое, и нам следовало бы все невыразимо производное, позднее, редкостное, случайное, что только мы ни воспринимаем на земной коре, перетолковывать в терминах существенного, всеобщего, вечного, как это и делают те, кто называет вселенную организмом? Мне это противно, Остережемся и того, чтобы верить, что вселенная есть машина; она наверняка сконструирована не с какой-то целью; словом “машина” мы оказываем ей слишком высокую честь. Остережемся вообще и повсюду предполагать нечто столь формально совершенное, как циклические движения соседних нам звезд; уже один взгляд на Млечный Путь вызывает сомнение, нет ли там более грубых и противоречивых движений, равным образом звезд с вечно-прямолинейными траекториями падения и еще чего-либо аналогичного. Астральный распорядок, в котором мы живем, есть исключение; этот распорядок и обусловленная им внушительная длительность делают возможным еще одно исключение из исключений: образование органического мира. Общий характер мира, напротив, извечно хаотичен, не в смысле недостающей необходимости, а в смысле недостающего порядка, членения, формы, красоты, мудрости и как бы там еще ни назывались все наши эстетические антропоморфизмы. С точки зрения нашего разума промахи суть правила, исключения отнюдь не составляют тайной цели, и все произведение извечно повторяет свой мотив, который никогда не может быть назван мелодией, — да и само слово «промахи» есть уже антропоморфизм с характером упрека. Но как могли бы мы порицать или восхвалять вселенную! Остережемся приписывать ей бессердечность и неразумность либо их противоположности: она не совершенна, не прекрасна, не благородна и не хочет стать ничем из этого, она вовсе не стремится подражать человеку! Ее вовсе не трогают наши эстетические и моральные суждения! Ей чуждо и всякое стремление к самосохранению и вообще всякое стремление; она не ведает также никаких законов. Остережемся утверждать, что в природе существуют законы. Существуют лишь необходимости: здесь нет никого, кто распоряжается, никого, кто повинует, никого, кто нарушает. Зная, что нет никаких целей, вы знаете также, что нет и никакого случая, ибо только рядом с миром целей слово “случай” вообще имеет смысл. Остережемся говорить, что смерть противопоставлена жизни. Живущее есть лишь род мертвого, и притом весьма редкий род. — Остережемся думать, что мир создает вечно новое. Нет никаких вечно сущих субстанций; материя — такое же заблуждение, как Бог элеатов. Но когда придет конец нашим предосторожностям и попечениям? Когда все эти тени Бога перестанут нас омрачать? Когда обезбожим мы вконец природу? Когда будем мы вправе оприродить человека чистою, наново обретенною, наново освобожденною природою!

110

Происхождение познания.

На протяжении чудовищных отрезков времени интеллект не производил ничего, кроме заблуждений; некоторые из них оказывались полезными и поддерживающими род: кто наталкивался на них или наследовал их, тот вел более удачную борьбу за себя и свое потомство. Подобные ложные верования, передававшиеся все дальше и дальше по наследству и, наконец, ставшие почти родовой основой человека, суть, например, следующие: существуют постоянные вещи; существуют одинаковые вещи; существуют вещи, вещества, тела; вещь есть то, чем она кажется; наша воля свободна; то, что хорошо для меня, хорошо и в себе и для себя. Лишь гораздо

прозе выступили отрицатели и скептики таких положений, — лишь голраздо позже выступила истина, как бессильнейшая форма познания. Казалось, что с нею жить невозможно, наш организм был устроен в противоположность ей; все его высшие функции, восприятия органов чувств и вообще всякого рода ощущения действовали в контакте с теми испокон веков усвоенными основными заблуждениями. Более того: положения эти стали даже нормами познания, сообразно которым отмерялось “истинное” и “ложное” — вплоть до отвлеченнейших областей чистой логики. Итак: способность познания лежит не в степени его истинности, а в его старости, его органической усвоенности, его свойстве быть условием жизни. Где жизнь и познание казались противоречащими друг другу, там никогда ничто не оспаривалось всерьез; там отрицание и сомнение считались безумием. Те исключительные мыслители, которые, подобно элеатам, хоть и устанавливали противоречия в естественных заблуждениях и упорно настаивали на этом, все-таки верили в то, что и с этой противоположностью можно жить: он выдумали мудреца как человека, не подверженного никаким изменениям, безличного, универсального в своем созерцании, который есть одновременно одно и все и наделен особой способностью для этого вывернутого наизнанку познания; они полагали, что их познание есть в то же время принцип жизни. Но чтобы утверждать все это, они должны были обманывать себя по части собственного своего состояния: им приходилось измышлять себе безличность и постоянство без перемен, недооценивать сущность познающего, отрицать силу влечений в познании и вообще понимать разум как совершенно свободную, из себя самой возникающую активность; они закрывали глаза на то, что и им удалось прийти к своим положениям, противореча расхожему мнению или стремясь к покою, к единоличному обладанию, к господству. С дальнейшим утончением честности и скепсиса невозможным стало, наконец, существование и этих людей; их жизнь и суждения равным образом оказались зависимыми от древнейших влечений и основных заблуждений всякого чувственно воспринимаемого бытия. — Эта более рафинированная честность и скепсис возникали повсюду, где два противоположных положения отказывались применимыми к жизни, поскольку оба уживались с основными заблуждениями, и где, стало быть, можно было спорить о большей или меньшей степени их полезности для жизни; равным образом повсюду, где новые положения хоть и не оказывались для жизни полезными, но, по крайней мере, не причиняли ей вреда, будучи обнаружениями склонности к интеллектуальным играм, невинными и блаженными, подобно всяческим играм. Постепенно человеческий мозг наполнялся такими суждениями и убеждениями; в этом клубке возникало брожение, борьба и жажда власти. Не только польза и удовольствие, но и всякий род влечения принимал участие в борьбе за “истины”; интеллектуальная борьба стала занятием, увлечением, призванием, долгом, достоинством — познание и стремление к истинному заняли, наконец, особое место в ряду прочих потребностей. Отныне не только вера и убеждение. Но и испытание, отрицание, недоверие, противоречие стали властью; все “злые” инстинкты были подчинены познанию и поставлены ему на службу, отполированные под что-то дозволенное, почтенное, полезное и, наконец, визуально невинное и доброе. Познание, таким образом, становилось неким подобием самой жизни, и как жизнь некой постоянно возрастающей властью, пока, наконец, не столкнулись друг с другом накопленный опыт и те древнейшие основные заблуждения, то и другое уже как жизнь, как власть, то и другое в одном и том же человеке. Мыслитель: нынче это есть существо, в котором влечение к истине и те жизнеохранительные заблуждения бьются своим первым боем, коль скоро и стремление к истине доказало себя как некую жизнеохранительную власть. По сравнению с важностью этой борьбы все прочее безразлично: здесь поставлен последний вопрос об условии жизни и сделана первая попытка ответить на этот вопрос с помощью эксперимента. В какой мере истина поддается органическому усвоению? — вот в чем вопрос, вот в чем эксперимент.

Происхождение логического.

Откуда в человеческой голове возникла логика? Наверное, из нелогики (Unlogik), царство которой первоначально должно было быть огромным. Но бесчисленное множество существ, умозаключающих иначе, чем умозаключаем теперь мы, погребло: это могло бы даже в большей степени отвечать действительности! Кто, например, недостаточно часто умел находить “одинаковое” в отношении пищи или враждебных ему зверей, кто, стало быть, слишком медленно обобщал, слишком осторожничал в обобщении, тот имел меньше шансов на дальнейшую жизнь, чем кто-либо, который во всем схожем тотчас же отгадывал одинаковость. Но преобладающая склонность обращаться со схожим, как с одинаковым, нелогичная склонность — ибо на деле не существует ничего одинакового, — заложила впервые всю основу логики. Равным образом для возникновения столь необходимого для логики понятия субстанции, хотя ему в самом строгом смысле не соответствует ничего действительного, понадобилось в течение длительного времени не видеть и не воспринимать изменчивого характера вещей; недостаточно зоркие существа обладали преимуществом над теми, кто видел все “в потоке”. Сама по себе всякая высокая степень осторожности в умозакключениях, всякая скептическая склонность есть уже большая опасность для жизни. Ни одно живое существо не уцелело бы, не будь в нем чрезвычайно сильно развита противоположная склонность — “скорее утверждать, чем приостанавливать суждение, скорее заблуждаться и измышлять, чем выжидать, скорее соглашаться, чем отрицать, скорее осуждать чем быть справедливым. — Протекание логических мыслей и умозакключений в нашем теперешнем мозгу соответствует

процессу и борьбе влечений, которые в отдельности и сами по себе — исключительно не логичны и не справедливы; мы узнаем обыкновенно лишь результат борьбы: столь быстро и столь скрытно разыгрывается в нас ныне этот древнейший механизм.

112

Причина и следствие.

Мы называем это “объяснением”, но это — “описание”: то, что отличает нас от более древних ступеней познания и науки. Мы описываем лучше, а объяснения наши столь же никчемны, как и у всех прежних людей. Мы открыли многократную последовательность там, где наивный человек и исследователь, принадлежащий к более древним культурам, видел лишь двоякое, “причину” и “следствие”, как было принято говорить; мы довели до совершенства образ становления, но не вышли за рамки самого образа. Во всяком случае, ряд “причин” предстает нам в гораздо более законченном виде; мы заключаем: вот это должно сначала произойти, дабы впоследствии вон то, — но при этом мы не понимаем ровным счетом ничего. Качество, например, при каждом химическом соединении по-прежнему выглядит “чудом”, как и всякое поступательное движение; никто еще толком не “объяснил” толчка. Да и как могли бы мы объяснить его! Мы оперируем сплошь и рядом несуществующими вещами: линиями, поверхностями, телами, атомами, делимыми временами, делимыми пространствами — какое тут может быть еще объяснение, когда мы заведомо все превращаем в образ, наш образ! Вполне достаточно и того, что мы рассматриваем науку как по возможности точное очеловечение вещей; описывая вещи и их последовательность, мы учимся с большей точностью описывать самих себя. Причина и следствие: подобного раздвоения, вероятно, нигде и не существует — в действительности нам явлен некий континуум, из которого мы урываем два-три куска, поскольку и само движение мы воспринимаем всегда лишь в изолированных пунктах, стало быть, не видим его, а заключаем к нему. Внезапность, с которой выделяются многие следствия, вводит нас в заблуждение; но эта внезапность существует только для нас. Бесконечное множество событий, ускользающих от нас, сжато в этой секунде внезапности. Интеллект, который видел бы причину и следствие как континуум, а не, на наш лад, как расчлененность и раздробленность — который видел бы поток событий, — отбросил бы понятия причины и следствия и отвергнул бы всякую обусловленность.

113

К учению о ядах.

Как много сил требуется собрать воедино, чтобы возникло научное мышление, и все эти необходимые силы должны были быть в отдельности найдены, развиты и задействованы! В своей изолированности, однако, они весьма часто оказывали совершенно иное воздействие, чем теперь, когда в пределах научного мышления они ограничивают друг друга и соблюдают взаимную дисциплину: они действовали как яды, например, импульсы сомнения, отрицания, выжидания, накопления, разрешения. Многие гекатомбы людей были принесены в жертву, прежде чем эти импульсы научились понимать свою совместность и чувствовать себя совокупно функциями единой организующей силы в человеке! И сколь далеки мы еще от того момента, где научное мышление соединяется с художественными способностями и практической житейской мудростью и образует более высокую органическую систему, в сравнении с которой ученый, врач, художник и законодатель, как они явлены нам ныне, должны будут предстать убогими антикварными предметами.

114

Объем морального.

Мы моментально конструируем новый и зримый нами образ с помощью всех прежних проделанных нами опытов лишь в меру нашей честности и справедливости. Не существует никаких других переживаний, кроме моральных, даже в области чувственного восприятия.

115

Четыре заблуждения.

Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он всегда видел себя лишь в незаконченном виде, во-вторых, он приписывал себе измышленные свойства, в-третьих, он чувствовал себя относительно животного мира и при родах в ложной иерархической последовательности, в-четвертых, он всегда открывал себе новые скрижали блага и на время принимал их как нечто вечное и безусловное, так что на первом месте стояло то одно, то другое человеческое стремление и состояние и облагораживалось вследствие этой оценки. Если скинуть со счетов действие этих четырех заблуждений, то придется скинуть со счетов также гуманность, человечность и “человеческое достоинство”.

Стадный инстинкт.

Там, где мы застаем мораль, там находим мы расценку и иерархию человеческих стремлений и поступков. Эта оценка и иерархия всегда оказываются выражением потребностей общины и стада: то, что идет им на пользу во-первых, во-вторых и в-третьих, — это и служит высшим масштабом при оценке каждой в отдельности. Моралью каждый приписывает себе ценность. Поскольку условия сохранения одной общины весьма отличались от условий сохранения другой, то существовали весьма различные морали, и с точки зрения предстоящих еще существенных преобразований стад и общин, государств и обществ можно решиться на пророчество, что впереди предстоят еще весьма различные морали. Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке.

Стадные угрызения совести.

В наиболее продолжительные и отдаленные эпохи человечества были совершенно иные угрызения совести, чем сегодня. Нынче чувствуют себя ответственными лишь за то, чего хотят и что делают, и гордятся про себя: все наши учителя права исходят из этого самоощущения и удовлетворенности отдельного человека, как если бы отсюда издревле и бил источник права. Но на протяжении длительного периода жизни человечества ни что не внушало большего страха, чем чувство самоизоляции. Быть одному, чувствовать в одиночку, не повиноваться, не повелевать, представлять собою индивидуум — это было тогда не удовольствием, а карой; “к индивидууму” приговаривались. Свобода мысли считалась сплошным неудобством. В то время как мы воспринимаем закон и порядок как принуждение и ущерб, прежде воспринимали эгоизм как нечто мучительное, как действительное бедствие. Быть самим собой, мерить самого себя на свой аршин — тогда это противоречило вкусу. Склонность к этому, возможно, сочли бы безумием, ибо с одиночеством были связаны всякие беды и всякий страх. Тогда “свободная воля” тесно соседствовала с нечистой совестью, и чем несвободнее действовали, чем более выговаривался в поступках стадный инстинкт, а не личное чувство, — тем моральнее оценивали себя. Все, что наносило вред стаду, безразлично, случалось ли это по воле или против воли отдельной особи, причиняло тогда ей угрызения совести — да еще и ее соседу, даже всему стаду! — Мы в подавляющем большинстве прошли по этой части новую выучку.

Благоволение.

Добродетельно ли это, когда одна клетка превращается в функцию другой; более сильной клетки? Она должна сделать это. И не является ли злом со стороны более сильной то, что она ассимилирует слабую? Она также должна сделать это; таким образом, ей это необходимо, поскольку она стремится к обильному пополнению и хочет регенерировать себя. Сообразно этому в благоволении следует различать склонность к усвоению и склонность к подчинению, в зависимости от того, испытывает ли благоволение более сильный или более слабый. Радость и желание соединены в более сильном, который хочет превратить нечто в свою функцию; в более слабом, который тщится стать функцией, соединены радость и желание быть желанным. — Сострадание, по сути дела, есть первое — некое приятное возбуждение склонности к усвоению при виде более слабого; при этом следует еще помнить, что “сильный” и “слабый” суть относительные понятия.

Никакого альтруизма!

Я подмечаю во многих людях избыточную силу и удовольствие от желания быть функцией; они проталкиваются туда именно и имеют тончайший нюх на все те места, где как раз им и удалось бы быть функцией. Сюда принадлежат женщины, превращающиеся в ту функцию мужа, которая слабо развита в нем самом, и становящиеся, таким образом, его кошельком, или его расчетливостью, или его светскостью. Такие существа лучше всего сохраняют самих себя, когда включаются в чужой организм; если им это не удастся, они становятся злобными, раздражительными и пожирают сами себя.

Здоровье души.

Излюбленную медицинскую формулу морали (восходящую к Аристону Хиосскому): “Добродетель — здоровье души” — пришлось бы, в целях годности, переименовать, по крайней мере, следующим образом: “Твоя добродетель — здоровье твоей души”, Ибо здоровья в себе не существует, и все попытки определить такого рода предмет кончаются плачевной неудачей. Чтобы установить, что собственно означает здоровье для твоего

тела, надо свести вопрос к твоей цели, твоему кругозору, твоим силам, твоим склонностям, твоим заблуждениям и в особенности к идеалам и химерам твоей души. Посему существуют неисчислимые здоровья тела, и чем более снова позволяют единичному и уникальному поднимать голову, чем больше отучиваются от догмы о “равенстве людей”, тем скорее должно исчезнуть у наших медиков понятие нормального здоровья, вместе с нормальной диетой и нормальным протеканием заболевания. Тогда лишь было бы своевременным поразмыслить о здоровье и болезни души и перевести в ее здоровье своеобразную добродетель каждого человека: конечно, здоровье одного могло бы выглядеть здесь так, как противоположность здоровья у другого. Наконец, открытым остается еще и большой вопрос, в состоянии ли мы обойтись без заболевания, даже в том, что касается развития нашей добродетели, и не нуждается ли больная душа, ничуть не менее здоровой, в нашей жажде познания и самопознания: короче, не есть ли исключительная воля к здоровью предрассудок, трусость и, пожалуй, некое подобие утонченнейшего варварства и отсталости.

121

Жизнь вовсе не аргумент.

Мы устроили себе мир, в котором может жить, — предпослав ему тела, линии, поверхности, причины и следствия, движение и покой, форму и содержание: без догматов веры никто не смог бы прожить и мгновения! Но тем самым догматы эти еще отнюдь не доказаны. Жизнь вовсе не аргумент; в числе условий жизни могло бы оказаться и заблуждение.

122

Моральный скепсис в христианстве.

И христианство внесло свою большую лепту в просвещение: оно преподавало урок морального скепсиса — весьма настойчивым и действенным способом — обвиняя, отравляя, но с неистощимым терпением и тактом; в каждом отдельном человеке оно уничтожало веру в его “добродетели”; оно навсегда стерло с лица земли те великие добродетели, которыми изобиловала древность, — тех популярных людей, которые, веруя в свое совершенство, шествовали с достоинством героев корриды. Если мы, воспитанные в этой христианской школе скепсиса, станем теперь читать моральные книги древних, скажем Сенеки и Эпиктета, мы почувствуем занятное превосходство и преисполнимся тайных видов и перспектив; при этом у нас будет такое настроение, будто некое дитя разглагольствовало в присутствии старца либо юная красивая энтузиастка в присутствии Ларошфуко: нам-то лучше известно, что такое добродетель! В конце концов, однако, мы обратили этот самый скепсис и на все религиозные состояния и события, как-то: грех, раскаяние, благодать, освящение, и так глубоко зарыли червя, что даже при чтении всех христианских книг мы испытываем тоже самое чувство рафинированного превосходства и проницательности: нам-то и религиозные чувства лучше известны! И вот пора как следует узнавать их и как следует описывать, ибо вымирают благочестивцы старой веры, — постараемся же спасти их образ и их тип, по крайней мере, в интересах познания!

123

Познание больше, чем средство.

И без этой новой страсти — я имею в виду познавательную страсть — подвигалась бы наука: наука до сих пор росла и мужала без нее. Благополучная вера в науку, попутствующий ей предрассудок, которым охвачены нынче наши державы (некогда даже и церковь), покоится, в сущности, на том, что этот разгоревшийся вокруг нее сыр-бор обнаруживается в ней самой крайне редко и что наука считается как раз не страстью, а состоянием и “этосом”. Конечно, часто достаточно уж одного *amour-plaisir* познания (любопытства), достаточно *amour vanité*, привычки к ней, с задними видами на почести и кусок хлеба; для многих достаточно даже и того, что они при избытке досуга не способны ни на что иное, кроме чтения, коллекционирования, упорядочивания, наблюдения, пересказа; их “научная склонность” есть их скука. Папа Лев X однажды (в папской грамоте к Бироальду) воспел похвалу науке: он называет ее прекраснейшим украшением и величайшей гордостью нашей жизни, благородным времяпрепровождением в счастье и горе; “без нее, — говорит он а заключение, — дела человеческие были бы лишены твердой опоры — ведь даже и с нею они все еще достаточно переменчивы и шатки!” Но этот в меру скептический папа замалчивает, как и все прочие церковные панегиристы науки, свое последнее мнение о ней. Пусть заключают из его слов — и это весьма примечательно для такого друга искусства, — что он ставит науку выше искусства; в конце концов это всего лишь учтивость, если он не говорит здесь о том, что именно ставит он превыше всякой науки: об “откровенной истине” и о “вечном спасении души”, — что в сравнении с этим ему украшение, гордость, опора, надежность жизни! “Наука есть нечто второстепенное, в ней нет ничего окончательного, безусловного, никакого предмета страсти” — это мнение так и осталось в душе Льва: доподлинное христианское мнение о науке! — В древности ее достоинство и признание умалялись тем, что даже среди наиболее ревностных ее адептов на первом месте стояло стремление к добродетели, и высочайшей

похвалой познанию считалось чествование его как лучшего средства к стяжанию добродетели. Это что-то новое в истории, когда познание хочет быть больше, чем средством.

124

На горизонте бесконечного.

Мы покинули сушу и пустились в плавание! Мы снесли за собою мосты — больше, мы снесли и саму землю! Ну, кораблик! Берегись! Вокруг тебя океан: правда, он не всегда ревет и порою лежит, словно шелк и золото, грезя о благе. Но наступит время, и ты узнаешь, что он бесконечен и что нет ничего страшнее бесконечности. О, бедная птица, жившая прежде на воле, а нынче бьющаяся о стены этой клетки! Горе тебе, если тебя охватит тоска по суше и дому, словно бы там было больше свободы, — а “суши”-то и нет больше!

125

Безумный человек.

Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: “Я ищу Бога! Я ищу Бога!” — Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? — сказал один. Он заблудился, как ребенок, — сказал другой. Или спрятался? Боятся ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? — так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. “Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам это! Мы его убили — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребаящих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершенно дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!” — Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. “Я пришел слишком рано, — сказал он тогда, — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, — и все-таки вы совершили его!” — Рассказывают еще, что в тот же день безумный человек ходил по различным церквам и пел в них свой *Requiem aeternam deo*. Его выгоняли и призывали к ответу, а он ладил все одно и то же: “Чем же еще являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?”

126

Мистические объяснения.

Мистические объяснения считаются глубокими; истина в том, что они даже и не поверхностны.

127

Последствие древнейшей религиозности.

Всякий лишенный мыслей человек полагает, что только воля есть действующее; что хотение представляет собою нечто простое, попросту данное, невыводимое, в-себе-понятное. Он убежден, что, делая нечто, например производя удар, ударяет он сам, и ударяет потому, что он хотел ударить. Для него в этом нет ничего проблематичного, ему вполне достаточно и чувства желания, чтобы не только признать причину и следствие, но и поверить в то, что он понимает их связь. Он ничего не знает о механизме события и о стократно тонкой работе, которая должна быть совершена, чтобы дело дошло до удара, равным образом и о неспособности воли самой по себе принять хоть малейшее участие в этой работе. Воля для него — магически действующая сила: вера в волю, как причину действий, есть вера в магически действующие силы. Первоначально человек повсюду, где он видел какое-либо свершение, веровал в волю, как причину, и в лично-волящих существ, действующих на заднем плане,

— до понятия механики ему было еще совсем далеко. Поскольку же человек на протяжении чудовищного периода веровал только в персонифицированное (а не в материю, силы, вещи и т. д.), вера в причину и следствие стала его основной верой, которую он применяет повсюду, где свершается что-либо, — даже и теперь еще проявляется это инстинктивно и как некий атавизм древнейшего происхождения. Положения: “нет следствия без причины”, “всякое следствие есть новая причина” — являются обобщениями многих более узких положений: “где нечто свершается, там было поволено”, “!можно воздействовать лишь на волящие существа”, “нигде не существует чистого, лишнего последствий претерпевания какого-либо действия, но всякое претерпевание есть возбуждение воли” (к действию, обороне, мести, воздаянию), — однако в незапамятные времена человечества как те, так и эти положения были идентичны: не первые являлись обобщениями вторых, но вторые — объяснениями первых. — Шопенгауэр своим допущением, что все налично существующее есть нечто волящее, возвел на трон первобытную мифологию; ему, по-видимому, так и не пришлось проанализировать волю, поскольку он, подобно каждому, верил в простоту и непосредственность всякого воления, — в то время как воление есть лишь настолько хорошо налаженный механизм, что почти ускользает от наблюдающего глаза. В противоположность ему я выставляю следующие положения: во-первых, чтобы возникла воля, необходимо представление об удовольствии и неудовольствии. Во-вторых: то, что какое-нибудь сильное раздражение ощущается как удовольствие или неудовольствие, есть дело интерпретирующего интеллекта, который, разумеется, большей частью действует при этом без нашего ведома; и, стало быть, одно и то же раздражение может быть истолковано как удовольствие либо неудовольствие. В-третьих: только у интеллектуальных существ есть удовольствие, неудовольствие и воля; громадное большинство организмов начисто лишены их.

128

Ценность молитвы.

Молитва придумана для таких людей, которые никогда не имеют собственных мыслей и которым неведомо либо незаметно возвышенное состояние души; что им за дело до священных мест и всех значительных жизненных ситуаций, требующих покоя и некоторого достоинства? Чтобы они, по крайней мере, не мешали, мудрость всех основателей религии, как малых, так и великих, рекомендовала им формулу молитвы, как долгой механической губной работы, связанной с напряжением памяти и с одинаково установленной позой рук и ног — 0 и глаз! Пусть они теперь, подобно тибетцам, бесчисленное количество раз пережевывают себе свое “Ом мане падме хум”, или, как в Бенаресе, считают на пальцах имя Бога Рам-Рам-Рам (и так далее, грациозно либо без всякой грации), или почитают Вишну с его тысячью и Аллаха с его девяноста девятью кличками; пусть они пользуются себе молитвенными жерновами и четками — суть дела в том, что эта работа придает им на время устойчивость и сносный вид: их манера молиться придумана во благо тех благочестивцев, которые обладают собственными мыслями и не лишены душевных подъемов. И даже этим последним не чужды миги усталости, когда чередой достопочтенных слов и звучаний и вся набожная механика оказывает на них благотворное воздействие. Но допустив, что эти редкие люди — в каждой религии религиозный человек есть исключение — умеют помогать себе сами, придется признать, что этого лишены нищие духом, и запретить им трещотку молитвы — значит отнять у них их религию, как это все больше и больше обнаруживает протестантизм. Религия хочет от них только одного — чтобы они сохраняли покой — глазами, руками, ногами и всякого рода органами: это порою украшает их и делает — более человекоподобными!

129

Условия Бога.

“Сам Бог не может существовать без мудрых людей”, — сказал Лютер, и с полным правом; но “Бог еще менее может существовать без неумных людей” — этого добрый Лютер не сказал!

130

Опасное решение.

Христианское решение находить мир безобразным и скверным сделало мир безобразным и скверным.

131

Христианство и самоубийство.

Христианство сделало рычагом своей власти необыкновенно распространенную ко времени его возникновения жажду самоубийства: оно оставило лишь две формы самоубийства, облекло их высочайшим достоинством и высочайшими надеждами и страшным образом запретило все прочие. Но мученичество и медленное умерщвление плоти аскетом были дозволены.

Против христианства.

Теперь против христианства решает наш вкус, уже не наши доводы.

Основоположение.

Неизбежная гипотеза, в которую все снова и снова должно впадать человечество, долгое время будет еще могущественнее самой уверованной веры в нечто неистинное (подобно христианское вере). Долгое время: здесь это значит на сотню тысяч лет вперед.

Пессимисты как жертва.

Там, где преобладает глубокое недовольство существованием, сказываются последствия грубых нарушений диеты, в которых длительное время был повинен народ. Так, распространение буддизма (не его возникновение) в значительной части зависит от чрезмерного и почти исключительного рисового рациона индусов и обусловленного им всеобщего расслабления. Возможно, европейское недовольство Нового времени следует усматривать в том, что наши предки, все Средневековье, благодаря воздействиям на Европу германских склонностей, предавались пьянству: Средневековье — значит алкогольное отравление Европы. — Немецкое недовольство жизнью есть, в сущности, зимняя хворь, с учетом спертых подвальных воздуха и печного угара в немецких квартирах.

Происхождение греха.

Грех, как он нынче ощущается повсюду, где господствует или некогда господствовало христианство, — грех есть еврейское чувство и еврейское изобретение, и с точки зрения этого заднего плана всей христианской моральности христианство на деле добивалось того, чтобы “оевредить” весь мир. В какой мере удалось ему это в Европе, тоньше всего ощущается в той степени чуждости, каковую все еще сохраняет греческая древность — мир, лишенный чувства греха, — по отношению к нашим восприятиям, несмотря на всю добрую волю к сближению и усвоению, в которой не испытывают недостатка целые поколения и множество превосходных людей. 2Лишь когда ты покаешься, смилостивится Бог над тобою” — у какого-нибудь грека это вызвало бы хохот и досаду: он сказал бы: “Так могут ощущать рабы”. Здесь в качестве предпосылки допущен некто Могущественный, Сверхмогущественный и все-таки Мстительный: власть его столь велика, что ему вообще не может быть нанесено никакого ущерба, кроме как в пункте чести. Каждый грех есть оскорбление respekта, некий *crimen laesae majestatis divinae* — и ничего больше этого! Самоуничижение, унижение, валяние в пыли — таково первое и последнее условие, с которым связана его милость, — стало быть, восстановление его божественной чести! Причиняется ли грехом поверх этого вред, насаждается ли им глубокое, растущее зло, охватывающее и душасщее, как болезнь, одного за другим, — все это ничуть не заботит этого тщеславного азиата на небеси: грех есть прегрешение перед ним, не перед человечеством! — кому он даровал свою милость, тому дарует он и эту беззаботность к естественным последствиям греха. Бог и человечество мыслятся здесь настолько разъятыми и противопоставленными, что, в сущности, перед последним вообще не может быть совершено никакого греха, — всякий поступок должен рассматриваться лишь в своих сверхъестественных последствиях, отнюдь не в естественных: так волит этого еврейское чувство, которому все естественное предстает чем-то недостойным самим по себе. Греку, напротив, ближе оказывалась мысль, что даже кощунство может обладать достоинством, даже воровство, как у Прометея, даже убий скота, как обнаружение безрассудной зависти, — случай Аякса: это было их потребностью — возвести преступление в достоинство и сотворить его с достоинством, изобрести трагедию — некое иск4ство и некое удовольствие, которое глубочайшим образом осталось чуждым еврею, несмотря на всю его поэтическую одаренность и склонность к возвышенному.

Избранный народ.

Евреи, чувствующие себя избранным народом среди прочих народов, и потому именно, что они суть моральный гений среди народов (в силу способности глубже презирать в себе человека, чем это присуще какому-либо народу), — евреи испытывают от своего божественного монарха и святого угодника наслаждение, аналогичное тому, какое французское дворянство испытывало от Людовика XIV. Это дворянство выпустило из рук все свое могущество и самовластие и стало презренным: дабы не чувствовать этого, дабы смочь забыть это, требовались

королевский блеск, королевский авторитет и полнота власти, не имеющие себе равных, к чему лишь дворянство имело открытый доступ. Когда, сообразно этой привилегии, возвысились до высоты двора и, озираясь с нее, увидели все нижележащее презренным, тогда совесть утратила всякую чувствительность. Таким умышленным образом все больше громоздили башню королевской власти в облака, используя для этого последние кубики собственной власти.

137

Говоря притчей.

Некто Иисус Христос был возможен лишь среди иудейского ландшафта — я имею в виду ландшафт, над которым постоянно нависало мрачное и выпуклое грозное облако сердитого Иеговы. Только здесь в дневной и ночной поголовной постылости было восчувствовано редкостное, внезапное, сквозное свечение одного-единственного солнечного луча, как чудо “любви”, как луч незаслуженнейшей “милости”. Только здесь мог Христос грезить о своей радуге и небесной лестнице, по которой Бог низошел к человеку; ясная погода и солнце повсюду еще значились слишком правилом и повседневностью.

138

Заблуждение Христово.

Основатель христианства полагал, что ни от чего не страдали люди сильнее, чем от своих грехов: это было его заблуждением, заблуждением того, кто чувствовал себя без греха, кому здесь не доставало опыта! Так исполнялась его душа дивной, фантастической жалости к страданию, которое даже у его народа, изобретателя греха, редко оказывалось большим страданием! — Но христианам пришлось в голову задним числом оправдать своего учителя и канонизировать его заблуждение в “истину”.

139

Цвет страстей.

Натурам, подобным апостолу Павлу, свойствен “дурной глаз” на страсти; они узнают в них только грязное, искажающее и душераздирающее, — оттого их идеальный порыв сводится к уничтожению страстей. Божественное видится им полностью очищенным от них. Совершенно иначе, чем Павел и иудеи, греки устремляли свой идеальный порыв как раз на страсти, любя, возвышая, золоча, боготворя их; очевидно, они чувствовали себя в страсти не только счастливее, но также чище и божественнее, чем в других состояниях. — А что же христиане? Хотели ли они стать в этом иудеями? Может быть, они и стали ими?

140

Слишком по-еврейски.

Если Бог хотел стать предметом любви, то ему следовало бы сперва отречься от должности судьи, вершащего правосудие: судья, и даже милосердный судья, не есть предмет любви. Основатель христианства недостаточно тонко чувствовал здесь — как иудей.

141

Слишком по-восточному.

Как? Бог, который любит людей, если только они веруют в него, и который мечет громы и молнии против того, кто не верит в эту любовь! Как? Оговоренная любовь, как чувство всемогущественного Бога! Любовь, не взявшая верх даже над чувством чести и раздраженной мстительности! Как по-восточному все это! “Если я люблю тебя, что тебе за дело до этого?” — вполне достаточная критика всего христианства.

142

Каждение.

Будда говорит: “Не льсти своему благодетелю!” Пусть повторят это речение в какой-нибудь христианской церкви: оно тотчас же очистит воздух от всего христианского.

143

Величайшая польза политеизма.

То, что отдельный человек устанавливает себе собственный свой идеал и выводит из него свой закон, свои

радости и свои права, — это считалось до сих пор наиболее чудовищным из всех человеческих заблуждений и самым идолопоклонством; на деле те немногие, которые отваживались на это, всегда нуждались в некотором самооправдании, и последнее гласило по обыкновению: “Не я! не я! но Бог через меня!” Чудесное искусство и способность создавать богов — политеизм — и были тем, в чем могло разряжаться это влечение, в чем оно очищалось, совершенствовалось, облагораживалось: ибо поначалу дело шло о некоем расхожем и незаметном влечении, родственном упрямству, непослушанию и зависти. Отвергать это стремление к собственному идеалу — таков был прежде закон всякой нравственности. Тогда была лишь одна норма: “человек”, — и каждый народ верил в то, что он имеет эту единственную и последнюю норму. Но над собою и вне себя, в отдаленном горном мире, вправе были видеть множество норм: один бог не был отрицанием другого бога или хулой на него! Здесь прежде всего позволили себе индивидуумов, здесь прежде всего чтили право индивидуумов. Изобретение богов, героев и сверхчеловеков всякого рода, равно как и человекообразов и недочеловеков, карликов, фей, кентавров, сатиров, демонов и чертей, было неоценимой выработкой навыка для оправдания себялюбия и своевластия отдельного человека: свободу, которую предоставляли одному богу в отношениях с другими богами, вменили, наконец, и самим себе по отношению к законам, нравам и соседям. Напротив, монотеизм, этот окоченелый вывод из учения о некоем эталоне Человека — стало быть, вера в некий эталон Бога, возле которого существуют еще только лживые лжебоги, — был, возможно, величайшей опасностью прежнего человечества; последнему грозил тогда тот преждевременный застой, в который — насколько мы можем видеть — уже давно впало большинство прочих животных видов, верующих совокупно в некий эталон Зверя, как в идеал их собственной породы, и окончательно введших в плоть и кровь нравственность нравов. В политеизме был создан первый образец свободомыслия и разномыслия человека: сила формировать себе новое и собственное зрение, и все снова и снова новое и более собственное, так что среди всех животных только для человека не существует никаких вечных горизонтов и перспектив.

144

Религиозные войны.

Религиозная война способствовала до сих пор величайшему прогрессу масс, ибо она доказывает, что массы стали почтительно обращаться с понятиями. Религиозные войны возникают тогда лишь, когда общий уровень мысли изощрается рафинированными спорами сект, так что даже чернь становится остроумной и принимает всерьез пустяки, считая вполне возможным сводить “вечное спасение души” к ничтожным различиям понятий.

145

Опасность вегетарианства.

Чудовищно превалирующее потребление риса приводит к употреблению опиума и наркотических средств, равным образом как чудовищно превалирующее потребление картофеля приводит к водке; оно приводит также, хотя в более тонких последствиях, к наркотически действующим образу мысли и чувствованию. Сообразно этому приспешники наркотического образа мыслей и чувствования, подобно тем индийским учителям, прославляют чисто растительную диету и селятся сделать ее законом для масс: таким путем они хотят вызывать и умножать потребность, которую сами они в состоянии удовлетворять.

146

Немецкие надежды.

Не будем все-таки забывать, что названия народов суть по обыкновению оскорбительные клички. Татары, например, по своему имени — “собаки”: так окрестили их китайцы. “Немцы” (die “Deutschen”): первоначально это означало “язычники (die “Heiden”); так готы, после обращения, называли большую массу своих некрещенных соплеменников, руководствуясь своим переводом Септуагинты, где язычники обозначены словом, которое по-гречески означает “народы”: пусть справятся у Ульфины. — Можно было бы все еще допустить, что немцы задним числом сделают себе из своей оскорбительной клички почетное имя, став первым нехристианским народом Европы: к чему, по Шопенгауэру, ставившему это им в честь, они в высшей степени расположены. Тогда завершилось бы дело Лютера, который научил их быть неримскими и говорить: “Здесь я стою! Я не могу иначе!”

147

Вопрос и ответ.

Что прежде всего перенимают нынче дикари у европейцев? Водку и христианство, европейские наркотики. — А от чего они скорее всего погибнут? — От европейских наркотиков.

Где возникают Реформации.

Ко времени великой порчи церкви церковь в Германии была менее всего испорчена: поэтому возникла здесь Реформация, как знак того, что уже и зачатки порчи ощущались невыносимыми. Относительно говоря, никогда не было более христианского народа, чем немцы времен Лютера: их христианская культура была вот-вот готова распуститься во стократное великолепие цветения — недоставало только одной ночи, но ночь принесла бурю, положившую всему конец.

Неудача Реформаций.

За высокую культуру греков даже в достаточно ранние времена говорит то обстоятельство, что неоднократные попытки основать новые греческие религии потерпели крах; это свидетельствует о том, что уже тогда в Греции было множество разнородных индивидуумов, разнородным нуждам которых не отвечал один-единственный рецепт веры и надежды. Пифагор и Платон, возможно, и Эмпедокл, и уже гораздо раньше орфические мечтатели пытались основать новые религии, а первые двое из названных обладали такими доподлинными душами и талантами основателей религии, что неудача их не перестает удивлять: они не пошли дальше сект. Всякий раз, когда не удается всенародная Реформация и поднимают головы только секты, есть основания заключать, что народ весьма разнороден в себе и начинает освобождаться от грубых стадных инстинктов и нравственности нравов: речь идет о том многозначительном шатком положении, которое обыкновенно поносят как упадок нравов и коррупцию, тогда как на деле оно возвещает созревание яйца и близость вылупления. Что Лютеру на Севере удалась Реформация, свидетельствует о том, что Север отстал от Юга Европы и жил еще достаточно однородными и однотонными потребностями; и вообще не было бы никакой христианизации Европы, если бы культура древнего южного мира не оказалась постепенно низведенной до уровня варварства вследствие чрезмерной примеси германской варварской крови и не потеряла своего культурного перевеса. Чем шире и безусловнее воздействие, производимое отдельным человеком или мыслью отдельного человека, тем однороднее и низменнее должны быть масса, на которую оказывают воздействие; между тем как противоположные устремления свидетельствуют о наличии внутренних противоположных потребностей, которые силятся сами удовлетворить себя и одержать верх. Напротив, всегда есть основания заключать о действительно высокой культуре там, где могущественные и властолюбивые натуры добиваются лишь незначительного и сектанского воздействия: это относится и к отдельным искусствам и сферам познания. Где властвуют, там есть массы; где есть массы, там есть потребность в рабстве. Где есть рабство, там лишь немногие остаются индивидуумами, и против них оборачиваются стадные инстинкты и совесть.

К критике святых

Неужели, для того чтобы обладать добродетелью, нужно стяжать ее именно в самом жестоком ее виде, как этого хотели и в этом нуждались христианские святые? Жизнь была им сносной только при мысли о том, что от одного вида их добродетели каждого очевидца охватывает самопрезрение. Но добродетель с таким воздействием я называю жестокой.

О происхождении религии.

Вовсе не в метафизической потребности лежит происхождение религий, как этого хочет Шопенгауэр; она сама есть лишь отпрыск последних. Под господством религиозных мыслей свыклись с представлением об “ином (заднем, нижнем, высшем) мире”, и с уничтожением религиозного бреда испытывают неприятную пустоту и лишение — из этого-то чувства и вырастает снова “иной мир”, на сей раз, однако, не религиозный, а лишь метафизический. Но то, что в незапамятные времена вообще вело к допущению “иного мира”, было не стремлением и не потребностью, а заблуждением в толковании определенных естественных процессов, интеллектуальным затруднением.

Величайшая перемена.

Переменились освещение и краски всех вещей! Нам уже не полностью понятно самое близкое и самое привычное, как чувствовали его древние, — например, день и бодрствование: оттого, что древние верили в сны, сама бодрственная жизнь представляла в ином освещении. И равным образом вся жизнь, с отражением смерти и ее

значения: наша “смерть” есть совершенно другая смерть. Все переживания светились иначе, ибо некое Божество просвечивало из них; все решения и виды на далекое будущее в равной степени, ибо имели оракулов и тайные знамения и верили в предсказания. “Истина” ощущалась иначе, ибо прежде и безумный мог быть ее глашатаем, — нас это содрогает или смешит. Каждая несправедливость иначе воздействовала на чувство, ибо страшились божественного воздаяния, а не только гражданского наказания и позора. Какая радость царила в то время, когда верили в черта и искусителя! Какая страсть, когда взору представляли демоны, засевшие в засаду! Какая философия, когда сомнение ощущалось прегрешением опаснейшего рода, именно, хулой на вечную любовь, недоверием ко всему, что было хорошего, высокого, чистого и милосердного! — Мы наново окрасили вещи, мы непрестанно малюем их, — но куда нам все еще до красочного великолепия того старого мастера! — я разумею древнее человечество.

153

Homo poeta.

“Я сам, я, собственноручно создавший эту трагедию трагедий, в той мере, в какой она готова; я, впервые ввязавший в существование узел морали и так затянувший его, что распутать его под силу разве что какому-нибудь богу — так ведь и требует этого Гораций! — я сам погубил теперь в четвертом акте все богов — из моральных соображений! Что же выйдет теперь из пятого! Откуда еще взять трагическую развязку! — Не начать ли мне думать о комической развязке?”

154

Различная опасность жизни.

Вы вовсе не знаете, что вы переживаете: вы бежите, словно пьяные, по жизни и валитесь временами с лестницу. Однако, благодаря вашему опьянению, вы не ломаете при этом себе конечностей: ваши мускулы слишком вялы, а голова слишком мутна, чтобы вы находили камни этой лестницы столь твердыми, как мы, другие! Для нас жизнь есть большая опасность: мы из стекла — горе, если мы столкнемся! И все конечно, если мы упадем!

155

Чего нам недостает.

Мы любим великую природу и открыли ее себе: это происходит оттого, что нашим мыслям недостает великих людей. Совсем иное греки: их чувство природы было другим, чем у нас.

156

Влиятельнейший.

Что какой-нибудь человек сопротивляется всему своему времени, задерживает его у ворот и привлекает к ответственности, это должно оказывать влияние! Хочет ли он этого, безразлично; главное, что он может это.

157

Mentiri.

“Берегись! — он призадумался: сейчас у него будет готова ложь. Это — ступень культуры, на которой стояли целые народы. Пусть припомнят, что выражали римляне словом *mentiri*!

158

Неудобное свойство.

Находить все вещи глубокими — это неудобное свойство: оно вынуждает постоянно напрягать глаза и в конце концов всегда находит больше, чем того желали.

159

Каждой добродетели свое время.

Кто нынче непреклонен, тому часто его честность причиняет угрызения совести: ибо непреклонность принадлежит к добродетелям иной эпохи, чем честность.

160

В обращении с добродетелями.

Можно и по отношению к добродетели вести себя недостойно и как подлиза.

161

Любителям времени. >

Поп-расстрига и освобожденный каторжник непрерывно “делают лицо”: чего они хотят, так это лица без прошлого. — Но доводилось ли вам уже видеть людей, которые знают, что на их лице отражается будущее, и которые столь вежливы по отношению к вам, вы, любители “времени”, что делают лицо без будущего?

162

Эгоизм.

Эгоизм есть закон перспективы в ощущениях, по которому ближайшее предстает большим и тяжелым, тогда как по мере удаления все вещи убывают в величине и весе.

163

После большой победы.

Лучшее в большой победе то, что она отнимает у победителя страх перед поражением. “Почему бы однажды и не понести поражение? — говорит он себе. — Я теперь достаточно богат для этого”.

164

Ищущие покоя.

Я различаю умы, ищущие покоя, по множеству темных предметов, которыми они обставляют себя: кому хочется спать, тот затемняет комнату или заползает в нору. _ Намек тем, кто не знают и хотят знать, чего, собственно, они ищут больше всего!

165

О счастье отрекающегося.

Кто основательно и надолго запрещает себе что-либо, тот при случайном и новом соприкосновении с этим почти мнит себя его открывателем — а как счастлив каждый открыватель! Будем умнее змей, которые слишком долго лежат на том же солнцепеке.

166

Всегда в своем обществе.

Все, что одного типа со мной, в природе и истории, обращается ко мне, восхваляет меня, влечет меня вперед, утешает меня — ничего другого я не слышу или сразу же забываю. Мы всегда — только в своем обществе.

167

Мизантропия и любовь.

Лишь тогда говорят о том, что пресытились людьми, когда не могут их больше переваривать, хотя желудок еще заполнен ими. Мизантропия есть следствие слишком ненасытной любви к людям и “людоедства” — но кто же просил тебя глотать людей, как устриц, мой принц Гамлет?

168

Об одном больном.

“Его дела плохи!” — Чего же ему недостает? — “Он страдает ненасытным желанием быть восхваленным и не находит пищи для этого”. — Непостижимо! Весь мир славит его, и его носят не только на руках, но и на устах! — “Да, но он туговат на похвалу. Когда его хвалит друг, ему слышится, будто этот последний хвалит самого себя; когда его хвалит враг, это звучит ему так, словно бы последний сам хотел быть за это восхваленным; когда, наконец, его хвалит кто-либо другой — а других не так уж и много: настолько он знаменит! — его оскорбляет то, что не хотят иметь его другом или врагом; он говорит обыкновенно: “Что мне до того, кто даже по отношению ко мне способен еще корчить из себя праведника!”

Открытые враги.

Храбрость перед врагом есть некая вещь в себе: можно и с нею быть все еще трусом и нерешительным путаником. Так судил Наполеон о “храбрейшем” из известных ему людей — Мюрате, — из чего следует, что открытые враги необходимы иным людям, в случае если последние вздумали бы возвыситься до своей добродетели, своего мужества и веселья.

170

С толпою.

Он бегаёт до сих пор за толпою и расточает ей хвалу: но наступит день, и он станет ее противником! Ибо он следует за нею, полагая, что его лень найдет при этом подобающее ей место: ему еще неизвестно, что толпа недостаточно ленива для него! что она всегда рвется вперед! что она не позволяет никому стоять на месте! — А он так охотно стоит на месте!

171

Слава.

Когда благодарность многих к одному отбрасывает всякий стыд, возникает слава.

172

Портящий вкус:

А: “Ты портишь вкус! — так говорят повсюду”. Б: “Несомненно. Я порчу вкус к его партии — этого не прощает мне ни одна партия”.

173

Быть глубоким и казаться глубоким.

Кто знает себя глубоко, заботится о ясности; кто хотел бы казаться толпе глубоким, заботится о темноте. Ибо толпа считает глубоким все то, чему она не может видеть дна: она так пуглива и так неохотно лезет в воду!

174

В сторону.

Парламентаризм, т. е. публичное разрешение на право выбора между пятью политическими мнениями, льстит многим, которые не прочь выглядеть самостоятельными и индивидуальными и бороться за свои мнения. Но в конечном счете безразлично, велено ли стаду иметь одно мнение или разрешены все пять, — кто уклоняется от пяти общественных мнений и отступает в сторону, тот всегда оказывается один на один против всего стада.

175

О красноречии.

Кто до сих пор обладал самым убедительным красноречием! Барабанная дробь: и покуда ею владеют короли, они все еще остаются лучшими ораторами и подстрекателями масс.

176

Сострадание.

Бедные царствующие монархи! Все их права нынче неожиданно превращаются в притязания, а все эти притязания обернутся вскоре сомнением! И стоит лишь им сказать “мы” или “мой народ”, как старая злая Европа уже улыбается. Поистине обер-церемониймейстер нового мира не стал бы с ними церемониться; возможно, он издал бы декрет: “Les souverains rangent aux parvenus”.

177

К “вопросу о воспитании”.

В Германии высокоразвитому человеку недостает большого воспитательного средства: смеха высокоразвитых людей; они не смеются в Германии.

178

К моральному просвещению.

Нужно разубедить немцев в их Мефистофеле и в их Фаусте в придачу. Это два моральных предрассудка против ценности познания.

179

Мысли.

Мысли суть тени наших ощущений — всегда более темные, более пустые, более простые, чем последние.

180

Хорошие времена свободных умов.

Свободные умы даже перед наукой отстаивают свои вольности — и подчас им предоставляют еще это, — покуда еще стоит церковь! Лишь постольку для них нынче хорошие времена.

181

Следование и предшествование.

А: “Из этих двух один всегда будет следовать, а другой всегда предшествовать, куда бы их ни завела судьба. И все-таки первый стоит выше второго по добродетели и уму!” Б: “И все-таки? И все-таки? Это сказано для других, не для меня, не для нас! — *Fit secundum regulam*”.

182

В одиночестве.

Когда живут в одиночестве, не говорят слишком громко, да и пишут не слишком громко: ибо бояться пустого отголоска — критики нимфы Эхо. — И все голоса звучат иначе в одиночестве!

183

Музыка лучшего будущего.

Первым музыкантом стал бы мне тот, кто знает только скорбь глубочайшего счастья, и никакой другой скорби: такого до сих пор еще не было.

184

Юстиция.

Лучше дать себя обкрадывать, чем обставлять себя пугалами, — этой мой вкус. И это при всех обстоятельствах дело вкуса — не больше!

185

Бедный.

Он сегодня беден: но не потому, что у него все отняли, а потому, что он все отшвырнул — зачем ему это! Он привык находить. — Бедны те, кто ложно толкует его добровольную бедность.

186

Нечистая совесть.

Все, что он нынче делает, — честно и заурядно, — и все-таки его мучит при этом совесть. Ибо незаурядное — его задача.

187

Оскорбительное в исполнении.

Этот художник оскорбляет меня манерой исполнения своих наитий, очень хороших наитий: все исполнено столь подробно и подчеркнуто и с такими грубыми приемами убеждения, словно бы он говорил с чернью. Посвятив

некоторое время его искусству, мы все время находимся как бы “в дурном обществе”.

188

Труд.

Как близок нынче и самый праздный из нас к труду и труженику! Царственная учтивость в словах “все мы труженики!” еще при Людовике XV была бы цинизмом и непристойностью.

189

Мыслитель.

Он мыслитель: это значит, он умеет воспринимать вещи проще, чем они суть.

190

Против хвалителей.

А: “Бываешь хвалим только равными!” Б: “Да! И кто тебя хвалит, говорит тебе: ты равен мне!”

191

Против иной защиты.

Наиковарнейший способ причинить вред какой-либо вещи — это намеренно защищать ее ложными доводами.

192

Благодушные.

Что отличает тех благодушных, у которых доброжелательство сияет на лице, от прочих людей? Они отлично чувствуют себя в присутствии каждой новой персоны и быстро влюбляются в нее; они желают ей за это добра, их первое суждение: “она нравится мне”. У них следует друг за другом: желание присвоения (значимость другого мало беспокоит их), быстрое присвоение, радость обладания и поступки в пользу обладаемого.

193

Остроумие Канта.

Кант хотел шокирующим для “всего мира” способом доказать, что “весь мир” прав: в этом заключалось тайное остроумие этой души. Он писал против ученых в пользу народного предрассудка, но для ученых, а не для народа.

194

“Искренний”.

Этот человек, по-видимому, всегда руководствуется скрытыми доводами: ибо у него всегда на языке и почти на ладони доводы, о которых можно сообщить.

195

Смешно.

Взгляните! Взгляните! Он убегает от людей, а они следуют за ним, потому что он бежит перед ними, — настолько они стадо!

196

Границы нашего слуха.

Слышат только те вопросы, на которые в состоянии найти ответ.

197

Посему осторожно!

Ничем мы столь охотно не делимся с другими, как покровом тайны — со всем тем, что под ним.

198

Досада гордого.

Гордый досадует даже на тех, кто продвигает его вперед: он смотрит злобно на лошадей своей кареты.

199

Щедрость.

Щедрость у богатого часто есть лишь особого рода застенчивость.

200

Смеяться.

Смеяться — значит быть злорадным, но с чистой совестью.

201

В одобрении.

В одобрении всегда есть нечто шумное: даже в одобрении, которое мы высказываем по отношению к самим себе.

202

Мот.

Он еще лишен бедности богача, пересчитавшего уже однажды все свое сокровище, — он расточает свой ум с неразумием мотовки природы.

203

Nis miger est.

Обыкновенно у него нет никаких мыслей, — но в порядке исключения ему приходят в голову дурные мысли.

204

Нищие и вежливость.

“Не будет невежливостью стучать камнем в дверь, у которой нет звонка” — так думают нищие и нуждающиеся всякого рода; но никто не соглашается с ними.

205

Потребность.

Потребность считается причиной возникновения; на деле она часто есть лишь следствие возникшего.

206

При дожде.

Идет дождь, и я вспоминаю о бедных людях, обремененных в своей тесноте многочисленными заботами и не умеющих скрыть их: каждый, стало быть, готов от чистого сердца причинить другому зло и сотворить себе даже при дурной погоде некое жалкое подобие удовольствия. — Это, только это и есть нищета нищих!

207

Завистник.

Вот завистник — не следует желать ему детей: он стал бы им завидовать в том, что не может уже сам быть ребенком.

208

Великий муж!

Из того, что некто есть “великий муж”, вовсе не следует еще, что он — муж; возможно, только мальчик, или хамелеон всех возрастов, или околдованная бабенка.

209

Манера спрашивать об основаниях.

Существует манера спрашивать нас об основаниях наших поступков, при которой мы не только забываем о лучших наших основаниях, но и чувствуем в себе некое пробуждающееся упрямство и отвращение к основаниям вообще: весьма оглуляющая манера спрашивать и поистине прием тиранических натур!

210

Мера в прилежании.

Не следует стремиться превзойти в прилежании своего отца — это вредит здоровью.

211

Тайные враги.

Позволить себе тайного врага это роскошь, для которой обычно недостаточной оказывается нравственность даже высокоразвитых умов.

212

Не поддаваться обману.

Его уму присущи дурные манеры, он суетлив и вечно заикается от нетерпения, так что с трудом можно догадаться, в какой просторной и широкогрудой душе он обитает.

213

Путь к счастью.

Мудрец спросил дурака, каков путь к счастью. Последний ответил без промедления, словно бы его спрашивали о дороге к ближайшему городу: “Удивляйся самому себе и живи на улице!” “Стой, — воскликнул мудрец, — ты требуешь слишком многого, достаточно уже и того, чтобы удивляться себе!” Дурак возразил: “Но как можно постоянно удивляться, не презирая постоянно?”

214

Вера делает блаженным.

Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто твердо верит в свою добродетель, — отнюдь не тем более утонченным душам, чья добродетель состоит в глубоком недоверии к себе и ко всякой добродетели. В конце концов и здесь “вера делает блаженным”! — а не хорошенько заметьте это, добродетель!

215

Идеал и вещество.

У тебя здесь перед глазами превосходный идеал, но представляешь ли и ты собою такой превосходный камень, чтобы из тебя можно было бы изваять этот божественный образ? И не есть ли — без этого — весь твой труд варварское изваяние? Хула на твой идеал?

216

Опасность в голосе.

С чересчур громким голосом в глотке почти невозможно иметь тонкие мысли.

217

Причина и следствие.

До того как наступит следствие, верят в другие причины, чем после его наступления.

218

Моя антипатия.

Я не люблю людей, которые, чтобы вообще оказать влияние, должны лопаться, как бомбы, и поблизости от которых вечно пребываешь в опасности потерять внезапно слух — или и того больше.

219

Цель наказания.

Наказание имеет целью улучшить того, кто наказывает, — вот последнее убежище для защитников наказания.

220

Жертва.

О жертве и жертвоприношении жертвенные животные думают иначе, чем зрители: но им никогда не давали и слова вымолвить об этом.

221

Пощада.

Отцы и сыновья гораздо больше щадят друг друга, чем матери и дочери.

222

Поэт и лгун.

Поэт видит в лгуне своего молочного брата, у которого он отнял молоко: так тот и остался, жалкий, и не снискал себе даже чистой совести.

223

Викариат чувств.

“И глаза имеют, чтобы слышать”, - сказал один старый исповедник, став глухим; “а среди слепых тот — царь, у кого самые длинные уши”.

224

Критика животных.

Боюсь, что животные рассматривают человека как равное им существо, которое опаснейшим для себя образом потеряло здравый животный ум, — как сумасбродное животное, как смеющееся животное, как плачущее животное, как злосчастнейшее животное.

225

Естественные.

“Зло всегда производило большой эффект! А природа зла! Посему будем естественны!” — так в глубине души заключают великие эффектолюбцы (Effekthascher) человечества, которых слишком часто причисляют к великим людям.

226

Недоверчивые люди и стиль.

Мы говорим самые сильные вещи просто, предполагая, что окружающие нас люди верят в нашу силу: подобное окружение воспитывает “простоту стиля”. Недоверчивые говорят выразительно: недоверчивые поступают выразительно

227

Ошибка, осечка.

Он не может владеть собою — и отсюда заключает женщина, что им легко овладеть, и расставляет вокруг него свой аркан; бедняжка, вскоре она будет его рабой.

228

Против посредников.

Кто хочет посредничать между двумя решительными мыслителями, отмечен посредственностью: у него нет глаз для того, чтобы видеть единственное в своем роде; неразборчивость на лица и уравниловка — признак слабого зрения.

229

Упрямство и верность.

Он из упрямства крепко держится чего-то, что теперь стало для него совершенно ясным, — и это он называет “верностью”.

230

Нехватка молчаливости.

Все его существо неубедительно, — это происходит оттого, что он ни разу не промолчал ни об одном хорошем поступке, который он совершил.

231

“Основательные”.

Тугодумы познания полагают, что медлительность свойственна познанию.

232

Сновидения.

Снится — или ничего, или что-то интересное. Нужно учиться и бодрствовать так же: или никак, или интересно.

233

Опаснейшая точка зрения.

То, что я сейчас делаю или допускаю, столь же важно для всего грядущего, как и величайшее событие прошлого: в этой чудовищной перспективе воздействия все поступки оказываются одинаково великими и малыми.

234

Утешительная речь музыканта.

“Твоя жизнь не звучит для людских ушей: для них ты живешь немой жизнью, и вся тонкость мелодии, вся нежная решительность в последствиях или намерениях ускользает от них. Правда, отсюда не следует, что ты пойдешь по широкой улице с полковой музыкой, — но это не дает никаких прав добрым людям говорить, что твоему образу жизни недостает музыки. Имеющий уши, да слышит”.

235

Ум и характер.

Иного возвышает его характер, но ум его остается несоразмерным с этой вершиной, — бывает и наоборот.

236

Чтобы двигать массами.

Не должен ли тот, кто хочет двигать массами, быть актером самого себя? Не должен ли он сперва перевести себя самого на гротескно-ясный язык и исполнить всю свою личность и свое дело столь огрубленным и упрощенным образом?

237

Вежливый.

“Он так вежлив!” — Да, у него всегда при себе лакомый кусочек для Цербера, и он так труслив, что каждого принимает за Цербера, и тебя, и меня, — вот и вся его “вежливость”.

238

Без зависти.

Он начисто лишен зависти, но в этом нет никакой заслуги: ибо он хочет завоевать страну, в которой еще никто не бывал и которую едва ли кто-нибудь видел.

239

Безрадостный.

Одного безрадостного человека вполне достаточно, чтобы надолго испортить настроение и омрачить небо целому семейству; и лишь чудом случается, что таковой отсутствует! — Счастье — далеко не столь заразная болезнь; отчего это происходит?

240

У моря.

Я не стал бы строить себе дома (и в этом даже мое счастье, что я не домовладелец!). Но если бы пришлось, я бы выстроил его, подобно многим римлянам, у самого моря — мне хотелось бы немного посекретничать с этим прекрасным чудовищем.

241

Творение и художник.

Этот художник тщеславен, и не более того: в конце концов его творение есть лишь лупа, которую он предлагает каждому, кто всматривается в него.

242

Suum cuique.

Как ни велика алчность моего познания, я могу брать у вещей только то, что уже мне принадлежит, — владения других продолжают оставаться в вещах. Позволительно ли человеку быть вором или разбойником!

243

Происхождение “хорошего” и “плохого”.

Улучшение изобретает только тот, кто способен чувствовать: “это не хорошо”.

244

Мысли и слова.

Даже свои мысли нельзя вполне передать словами.

245

Похвала через выбор.

Художник выбирает свои сюжеты: это его манера хвалить.

246

Математика.

Мы хотим внести тонкость и строгость математики во все науки, поскольку это вообще возможно; мы желаем этого не потому, что рассчитываем таким путем познавать вещи, но для того, чтобы установить этим наше человеческое отношение к вещам. Математика есть лишь средство общего и высшего человековедения.

247

Привычка.

Всякая привычка делает нашу руку более остроумной, а наше остроумие менее проворным.

248

Книги.

Какой толк в книге, которая даже не уносит нас от всех книг?

249

Вздых познающего.

“О, эта моя алчность! В этой душе нет никакой самоотверженности — скорее, ненасытная самость, которая тщится из многих индивидов как бы видеть своими глазами и как бы хватать своими руками, — самость, стягивающая к себе все прошлое и не желающая потерять что-либо из того, что могло бы вообще принадлежать ей! О, это пламя моей алчности! О, если бы я возродился в сотне существ!” — Кто не знает из опыта этого вздоха, тому неведома и страсть познания.

250

Вина.

Хотя проницательнейшие судьи ведьм и даже сами ведьмы были убеждены в том, что они виновны в колдовстве, вины тем не менее не было. Так обстоит дело со всякой виной.

251

Неузнанные страдальцы.

Величественные натуры страдают иначе, чем это воображают себе их почитатели: пуще всего страдают они от неблагородных, мелочных вспышек, выводящих их из себя в какие-то злые мгновения, короче, от сомнений в собственном величии — и вовсе не от жертв и мученичества, которых требует от них их задача. Пока Прометей сострадает людям и жертвует собою ради них, он счастлив и велик в себе самом; но стоит лишь ему почувствовать зависть к Зевсу и к почестям, оказываемым последнему смертными, как он начинает страдать!

252

Лучше должником.

“Лучше оставаться должником, чем расплачиваться монетой, не носящей нашего образа!” — так требует этого наша суверенность.

253

Всегда дома.

В один прекрасный день мы достигаем нашей цели — и впредь с гордостью указываем на проделанный нами долгий путь. В действительности мы не замечали, что мы в пути. Нам потому и удалось уйти столь далеко, что мы на каждом месте мнили себя дома.

254

Против затруднительного положения.

Кто всегда глубоко погружен в дело, тот выше всякого затруднительного положения.

255

Подражатели.

А: “Как? ты не хочешь никаких подражателей?” — Б: “Я не хочу, чтобы мне в чем-либо подражали; я хочу, чтобы каждый сам сделал себе то, что делаю я”. — А: “Следовательно —?”

256

Кожный покров.

Все глубокие люди находят свое блаженство в том, чтобы однажды уподобиться плавающим рыбам и резвиться на верхушках волн; они наиболее ценят в вещах их свойство — иметь поверхность: их кожный покров — *sit venia verbo*.

257

Из опыта.

Иной и не ведает, как он богат, покуда не узнает, какие богатые люди все еще обворовывают его.

258

Отрицатели случайности.

Ни один победитель не верит в случайность.

259

Из рая.

“Добро и зло суть предрассудки Божьи”, сказала змея.

260

Таблица умножения.

Один всегда неправ: но с двоих начинается истина. — Один не может доказать себя: но двоих уже нельзя опровергнуть.

261

Оригинальность.

Что такое оригинальность? Видеть нечто такое, что не носит еще никакого имени и не может быть еще названо, хотя и лежит на виду у всех. Как это водится у людей, только название вещи делает ее вообще зримою. — Оригиналы, большей частью, были и нарекателями.

262

Sub specie aeterni.

А: “Ты все быстрее удаляешься от живущих: скоро они вычеркнут тебя из своих списков!” — Б: “Это единственное средство разделить с мертвыми их преимущество”. — А: “Какое преимущество?” — Б: “Не умирать больше”.

263

Без тщеславия.

Когда мы любим, мы хотим, чтобы наши недостатки оставались скрытыми — не из тщеславия, но чтобы любимому существу не пришлось страдать. Да, любящий хотел бы выглядеть неким богом — и опять же не из тщеславия.

264

Что мы делаем.

Что мы делаем, того никогда не понимают, но всегда лишь хвалят и порицают.

265

Последний скепсис.

Что же такое в конце концов человеческие истины? — Это — неопровержимые человеческие заблуждения.

266

Где нужна жестокость.

Кто обладает величием, тот жесток к своим добродетелям и расчетам второго ранга.

267

С одной великой целью.

С одной великой целью оказываешься сильнее даже справедливости, не только своих поступков и своих судей.

268

Что делает героическим?

Одновременно идти навстречу своему величайшему страданию и своей величайшей надежде.

269

Во что ты веришь?

В то, что все вещи должны быть наново взвешены.

270

Что говорит твоя совесть?

“Ты должен стать тем, кто ты есть”.

271

В чем твои величайшие опасности?

В сострадании.

272

Что ты любишь в других?

Мои надежды.

273

Кого называешь ты плохим?

Того, кто вечно хочет стыдить.

274

Что для тебя человечнее всего?

Уберечь кого-либо от стыда.

275

Какова печать достигнутой свободы?

Не стыдиться больше самого себя.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГASANCTUS JANUARIUS Ты, что огненною пикой

Лед души моей разбил

И к морям надежд великих

Бурный путь ей проложил:

И душа светла и в здравье,

И вольна среди обуз

Чудеса твои прославят,

Дивный Януариус!

Генуя, в январе 1822 года

276

На Новый год.

Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить. Sum/ ergo cogito: cogito, ergo sum.

Сегодня каждый позволяет себе высказать свое желание и заветнейшую мысль: что ж, и я хочу сказать, чего бы я желал сегодня от самого себя и какая мысль впервые в этом году набежала мне на сердце, — какой мысли сподобилось стать основой, порукой и сладостью всей дальнейшей моей жизни! Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу вести никакой войны против безобразного. Я не хочу

обвинять, я не хочу даже обвинителей. Отводить взор — таково да будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу однажды быть только утвердителем!

277

Личное Провидение.

Есть определенная высшая точка жизни: достигнув ее и насильственно отспорив у прекрасного хаоса существования всякий заботливый разум и доброту, мы со всей нашей свободой подвергаемся вновь величайшей опасности духовной несвободы и тягчайшему испытанию нашей жизни. Здесь-то и настигает нас со сверлящей силой мысль о личном Провидении, имея на своей стороне лучшего защитника, очевидность, — там, где нам до очевидного ясно, что решительно все вещи, которые нас касаются, то и дело идут нам во благо. Жизнь ежедневно и ежечасно словно бы и не желает ничего иного, как всякий раз наново доказывать это положение: о чем бы ни шла речь — о дурной или хорошей погоде, потере друга, болезни, клевете, задержке письма, вывихе ноги, посещении торговой лавки, контраргументе, раскрытой книге, сне, обмане, — все это оказывается тотчас же или в самом скором времени чем-то, чего “не могло не быть”. — все это исполнено глубокого смысла и пользы именно для нас! Есть ли более опасное искушение разувериться в богах Эпикура, этих беззаботных незнакомцах, и уверовать в некое озбоченное и придиричивое Божество, которое персонально осведомлено о каждом волоске на нашей голове и не находит ничего гадливого в презреннейшем справлении службы? Что ж — таково мое мнение, несмотря ни на что! Оставим в покое богов и равным образом услужливых духов; удовлетворимся допущением, что наша собственная практическая и теоретическая ловкость в толковании и столкновении (im Auslegen und Zurechtlegen) событий достигла нынче своего апогея. Не будем также слишком высоко думать об этой сноровке нашей мудрости, если временами нас чересчур поразит дивная гармония, возникающая при игре на нашем инструменте: слишком сладкозвучная гармония, чтобы мы осмелились приписать ее сами себе. На деле там и тут некто играет с нами — милый случай: он при случае водит нашей рукой, и никакое мудрейшее из мудрых Провидение не смогло бы придумать более прекрасной музыки, чем та, которая удастся нашей дурацкой руке.

278

Мысль о смерти.

Мне доставляет меланхолическое счастье жить в этом лабиринте улочек, потребностей, голосов: сколько наслаждения, нетерпения, ненасытности, сколько жаждущей жизни и опьянения жизнью обнаруживается здесь с каждым мгновением! И, однако, скоро настанет такой покой для всех этих шумящих, живущих, жаждущих жизни! Взгляните, как стоит за каждым его тень, его темный спутник! Всегда как в последний момент перед отплытием эмигрантского судна: имеют сказать друг другу больше, чем когда-либо, время теснит, океан своим пустынным молчанием нетерпеливо ждет за всем этим шумом — столь ненасытный, столь уверенный в своей добыче! И все, все думают, что все, случившееся до сих пор, было ничем либо мало чем и что близкое будущее есть все: и отсюда эта спешка, этот крик, это самооглушение и самонадувательство! Каждый хочет быть первым в этом будущем, — 0 и все же только смерть и гробовая тишина есть общее для всех и единственно достоверное в нем! Как странно, что эта единственная достоверность и общность не имеет почти никакой власти над людьми и что они наиболее далеки от того, чтобы чувствовать себя братьями во смерти! Мне доставляет счастье — видеть, что люди совсем не желают думать о смерти! Я бы охот но добавил что2нибудь к этому, чтобы сделать им мысль о жизни еще во сто крат достойнее размышления.

279

Звездная дружба.

Мы были друзьями и стали друг другу чужими. Но это так и есть, и мы не хотим скрывать этого от себя и стусевывать, словно бы мы стыдились этого. Мы два корабля, у каждого из которых своя цель и свой путь; мы, конечно, можем встретиться и отпраздновать нашу встречу, как сделали это некогда, — а тогда отважные корабли стояли так спокойно в одной гавани и под одним солнцем, что могло казаться, будто они уже у цели и будто у них была одна цель. Но всемогущая сила нашей задачи разогнала нас снова в разные стороны, в разные моря и поясы, и, быть может, мы никогда не свидимся, — а быть может, и свидимся, но уже не узнаем друг друга: разные моря и солнца изменили нас! Что мы должны были стать чужими друг другу, этого требовал закон, царящий над нами: именно поэтому должны мы также и больше уважать друг друга! Именно поэтому мысль о нашей былой дружбе должна стать еще более священной! Должно быть, есть огромная невидимая кривая и звездная орбита, куда включены наши столь различные пути и цели, как крохотные участки, — возвысимся до этой мысли! Но жизнь наша слишком коротка, и зрение наше слишком слабо для того, чтобы мы могли быть более чем друзьями в смысле этой высшей возможности. — Так будем же верить в нашу звездную дружбу, даже если мы должны были стать друг другу земными врагами.

Архитектура познающих.

Однажды — и, должно быть, скоро — придется осознать, чего главным образом недостает нашим большим городам: тихих и отдаленных, просторных мест для размышления, мест с высокими длинными аллеями для скверной или чересчур солнечной погоды, куда не проникает шум экипажей и крики разносчиков и где более утонченное чувство такта воспретило бы даже священнику громкую молитву; сооружений и парков, которые в целом выражают возвышенный характер раздумий и одиноких прогулок. Канули в минувшие времена, когда церковь владела монополией на размышление, когда *vita contemplativa* должна была первым делом быть *vita religiosa*; во всем, что построила церковь, просвечивает эта мысль. Я не знаю, как могли бы мы довольствоваться ее постройками, даже если бы они были лишены их церковного назначения; эти постройки говорят слишком патетичным и пристрастным языком, как дома Божьи и роскошные пристанища надмирного общения, чтобы нам, безбожникам, сподобилось думать здесь свои думы. Мы хотим перевести себя в камень и растения, мы хотим прогуливаться в самих себе бродя по этим аллеям и садам.

281

Уметь находить конец.

Мастера первого ранга узнаются по тому, что они в великом, как и в малом, совершенным образом умеют находить конец, будь это конец мелодии или мысли, будь это пятый акт трагедии или государственная акция. Мастера второй ступени всегда становятся к концу беспокойными и впадают в море не в такой гордой, спокойной соразмерности, как, например, гора у *Porto fino* — там, где гонуэзская бухта допевает до конца свою мелодию.

282

Поступь.

Есть манеры ума, которыми даже великие умы выдают свое плебейское или полуплебейское происхождение: предательской оказывается главным образом поступь и походка их мыслей; они не умеют ходить. Так, даже Наполеон, к своей глубокой досаде, не мог ходить по-царственному и “легитимно”, в тех случаях, когда это было действительно уместно, скажем при больших коронационных процессиях и т. п.: и здесь он был всего лишь предводителем колонны — гордым и в то же время торопливым и, главное, отдающим себе в этом отчет. — Забавное зрелище — смотреть на тех писателей, которые присборенными платьями периода напускают вокруг себя шуршание: таким путем они пытаются спрятать свои ноги.

283

Подготовители.

Я приветствую все знамения того, что зачинается более мужественная, воинственная эпоха, которая прежде всего наново воздаст почести отваге! Ибо ей назначено проложить пути более высокой эпохе и скапливать силы, которые некогда понадобятся этой последней, — эпохе, вносящей героизм в познание и ведущей войны за мысли и их последствия. Для этого нужны теперь многие подготовители, храбрецы, которые, однако, не могут возникнуть из ничего, — тем более из песка и ила нынешней цивилизации и образованности больших городов; люди, умеющие быть молчаливыми, одинокими, решительными, стойкими и довольствоваться неприметными деяниями: люди, которые из внутренней склонности ищут во всех вещах того, что есть в них преодолимого; люди, которым столь же присущи веселость, терпение, простота и презрение ко всяческой большой суетливости, как и великодушие в победе и снисходительность к маленькой суетливости всех побежденных; люди с острым и свободным суждением о всех победителях и об участии случая во всякой победе и славе; люди с собственными празднествами, собственными буднями, собственными погребальными днями, привычные и уверенные в повелевании и одинаково готовые, где следует, повиноваться, в том и в другом одинаково гордые, одинаково служащие своему собственному делу: более рискованные люди, более плодотворные люди, более счастливые люди! Ибо, поверьте мне! — тайна пожинать величайшие плоды и величайшее наслаждение от существования зовется: опасно жить! Стройте свои города у Везувия! Посылайте свои корабли в неизведанные моря! Живите, воюя с равными вам и с самими собой! Будьте разбойниками и завоевателями, покуда вы не можете быть повелителями и владетелями, вы, познающие! Скоро канет время, когда вы могли довольствоваться тем, что жили, подобно пугливым оленям, затаившись в лесах! В конце концов познание протянет руку за тем, что ему подобает: оно вознамерится господствовать и обладать, и вы вместе с ним!

284

Вера в себя.

Немногие люди обладают вообще верой в себя; и из этих немногих одни получают ее как полезную слепоту или частично помрачение их духа (чтобы усмотрели они, сумеи они видеть себя до дна!), другие же должны прежде снискать ее себе: все, что делают они хорошего, дельного, значительного, есть в первую очередь аргумент против прижившегося в них скептика — его-то и надо убедить или уговорить, и для этого требуется почти гениальность. Это великие самонедовольцы (Seelbst-Ungenugsamen).

285

Ecelsior!

“Ты ни когда не будешь больше молиться, не будешь больше поклоняться, никогда не успокоишься уже в бесконечном доверии — ты запретишь себе останавливаться перед последней мудростью, последней благостью, последней силою и распрягать свои мысли — у тебя нет вечно бодрствующего стража и друга для твоих семи одиночеств — ты живешь без вида на гору, вершина которой заснежена, а сердце полыхает огнем, — нет тебе ни воздаятеля, ни последнего правщика (Verbesserer letzter Hand) — нет больше разума в том, что свершается, ни любви в том, что свершится с тобой, — сердцу твоему закрыто уже пристанище, где ему было что находить и нечего искать, — ты сопротивляешься какому-то последнему миру, ты хочешь вечного круговорота войны и мира — человек отречения, всего ли ты хочешь отречься? Кто же даст тебе силу для этого? Никто еще не имел этой силы!” — Есть озеро, которое однажды запретило себе изливаться и воздвигло плотину там, где оно прежде изливалось: с тех пор это озеро поднимается все выше и выше. Наверное, именно это отречение и ссудит нас силою, которою можно будет вынести и само отречение: наверное, человек оттуда и начнет подниматься все выше и выше, где он перестает изливаться в Бога.

286

Реплика.

Здесь все надежды; что, однако, увидите и услышите вы от них, если в собственной своей душе вы не пережили блеск и жар и утренние зори? Я могу лишь напомнить — большего я не могу! Двигать камнями, делать зверей людьми — этого вы хотите от меня? Ах, если вы все еще камни и звери, поищите-ка себе сперва своего Орфея!

287

Наслаждение слепотой.

“Мои мысли, — сказал странник своей тени, — должны показывать мне, где я стою: но пусть они не выдают мне, куда я иду. Я люблю быть в неведении относительно будущего и не желаю погибнуть от нетерпения и предвкушения обещанных событий”.

288

Высокие настроения.

Мне кажется, что люди большей частью не верят вообще в высокие настроения, разве что мгновенные, самое большее, на четверть часа, — исключая тех немногих, которые по опыту знают большую длительность высокого чувства. Но быть полностью человеком одного высокого чувства, воплощением одного-единственного великого настроения — это до сих пор было только мечтой и восхитительной возможностью: история не дает нам еще ни одного достоверного примера тому. И все-таки она смогла бы однажды родить и таких людей — там, где было бы создано и определено множество подходящих условий, которых теперь не в состоянии сколотить даже самая счастливая случайность. Быть может, для этих будущих душ обычным оказалось бы как раз то состояние, которое до сих пор лишь временами проступало в наших душах в виде содрогающего их исключения: беспрестанное движение между высоким и глубоким и чувство высокого и глубокого, как бы постоянное восхождение по лестнице и в то же время почивание на облаках.

289

По кораблям!

Если подумают о том, как действует на каждого человека общее философское оправдание его образа жизни и мыслей — именно, подобно греющему, благословляющему, оплодотворяющему, только ему и светящему солнцу, — если подумают о том, сколь независимым от похвалы и порицания, самодовольным, богатым, щедрым на счастье и доброжелательство делает оно его, как оно, не переставая, продолжает превращать зло в добро, доводит все силы до цветения и созревания и не дает взойти малому и большому сорняку скорби и досады, — то,

снимаемые томлением, воскликнут наконец: о, если бы было создано еще много таких солнц! И злой, и несчастный, и исключительный человек — все они должны иметь свою философию, свое право, свой солнечный свет! Никакого сострадания к ним! — нам должно разучиться этому припадку спеси, как бы долго ни училось и выучивалось человечество доселе именно ему, — никаких исповедников, заклинателей душ и грехоотводников (Sundenvergeber)! Но новой справедливости! И новых призывов! Новых философов! И моральная Земля кругла! И у моральной Земли есть свои антиподы! И у антиподов есть свои права на существование! Предстоит еще открыть Новый свет — и не один! По кораблям, вы, философы!

290

Одно необходимо.

“Придавать стиль” своему характеру — великое и редкое искусство! В нем упражняется тот, кто, обзрев все силы и слабости, данные ему его природой, включает их затем в свои художественные планы, покуда каждая из них не предстанет самым искусством и разумом, так что и слабость покажется чарующей. Вот тут надо будет прибавить много чего от второй природы, вон там отсечь кусок первой природы — оба раза с долгим прилежанием и ежедневными стараниями. Вот здесь припрятана какая-то уродливость, не дающая себя резать, а там уже она выглядит чем-то возвышенным. Много смутного, сопротивляющегося формированию накоплено для дальнейшего использования: оно должно заманивать в неизмеримые дали. Наконец, когда творение завершено, обнаруживается, что оно было непреложностью вкуса, одинаково господствовавшего и формировавшего как в великом, так и в малом: хороший ли это был вкус или плохой, не так важно, как думают, — достаточно и того, что это просто вкус! — Найдутся сильные, властолюбивые натуры, которые в этой непреложности, в этой связности и законченности, подчиненной собственному закону, будут вкушать самое утонченное наслаждение; страстность их властной воли получит облегчение при виде всякой стилизованной природы, всякой побежденной и служащей природы; даже если им придется сооружать дворцы и разбивать сады, они будут из всех сил сопротивляться тому, чтобы не дать волю природе. — Напротив, есть слабые, не совладающие с собой характеры, которые ненавидят связность стиля: они чувствуют, что, если применить к ним самим такую горько-злую непреложность, это непременно опошлит их под ее гнетом — служа, они становятся рабами, и им ненавистно служение. Такие умы — а они могут быть умами первого ранга — всегда тщатся подлаживать или истолковывать самих себя и свое окружение под свободную природу — выглядеть дикими, произвольными, фантастичными, беспорядочными, внезапными; и, поступая так, они делают хорошо, поскольку только так делают они хорошо самим себе! Ибо одно необходимо — чтобы человек достиг удовлетворенности собою, — будь это с помощью той или иной поэзии и искусства: лишь тогда выглядит человек вообще сносным! Кто недоволен собою, тот постоянно готов мстить за это: мы, прочие, окажемся его жертвами, хотя бы уже в том, что вечно должны будем выносить его гнусный вид. Ибо вид гнусного оскверняет и омрачает.

291

Генуя.

Я долго всматривался в этот город, в его загородные дома и декоративные сады, в широкий район его населенных вершин и склонов; я должен сказать наконец: я вижу лица прошлых поколений — эта местность кишит репродукциями отважных и самовластных людей. Они жили и хотели жить дальше — об этом говорят они мне своими домами, построенными и украшенными на целые столетия, а не на мимолетное время: они хорошо относились к жизни, как бы зло ни от носились они зачастую друг к другу. Я вижу всегда строителя, пристально вглядывающегося во все дальние и близкие постройки, а также в город, море и линии гор, как бы вырабатывающего себе этим взглядом навык власти и завоевания: все это хочет он подчинить своему плану и уже как часть плана сделать своей собственностью. Вся эта местность обросла великолепной, ненасытной горячкой обладания и добычи, и подобно тому как эти люди не признавали за далями ни каких границ и в своей жажде нового воздвигали новый мир рядом со старым, так и у себя на родине каждый из них постоянно восставал на каждого, изоощряясь в подчеркивании своего превосходства и пролагая между собою и своим соседом водораздел личной бесконечности. Каждый наново завоевывал свою родину для себя, преодолевая ее своими архитектурными затеями и переделывая ее как бы в собственный дом на загляденье. В градостроительстве Севера импонирует закон и общая тяга к законности и послушанию; при этом угадывается то внутреннее самоуравнивание и самоупорядочение, которое должно было владеть душой всякого строителя. Здесь же на каждом углу ты находишь себедовлеющего человека, знающего толк в море, приключении и Востоке, человека, который ничуть не расположен к закону и соседу, как к чему-то набивающему оскомину, и завистливым взглядом мерит все уже установленное, старое: с удивительным лукавством фантазии тщится он, по крайней мере мысленно, установить еще раз все наново, наложить на все свою руку — свое чувство, — хотя бы на одно лишь солнечное послеполуденное мгновение, когда его ненасытная и меланхоличная душа почувствует однажды насыщение и взгляду его сможет открыться только собственное и ничего чужого.

Проповедникам морали.

Я не хочу проповедовать никакой морали, но тем, кто это делает, я дам следующий совет: если вы хотите окончательно обесчестить и обесценить самые лучшие вещи и состояния, то продолжайте, как и прежде, разглагольствовать о них! Водрузите их на острие вашей морали и говорите с утра до вечера о счастье, которое дает добродетель, о душевном покое, о справедливости и об имманентном воздаянии: вашими усилиями все эти хорошие вещи снизут себе, наконец, популярность и уличное признание; но тогда-то и сойдет с них все золото, и больше того: все золото в них пресушествовится в свинец. Поистине вы знаете толк в извращении алхимического искусства: в обесценивании ценнейшего! Попробуйте однажды действовать по иному рецепту, чтобы избежать результата, противоположного искомому вами: отрицайте эти хорошие вещи, лишите их плебейского одобрения и легкомысленной расхожести, сделайте их снова скрытными застенчивостями одиноких душ, скажите: мораль есть нечто запретное! Возможно, таким путем и склоните вы к этим вещам тот тип людей, от которых единственно зависит нечто: я имею в виду героические натуры. Но для этого здесь должно быть кое-что внушающее страх, а не отвращение, как до сих пор! Разве нельзя сегодня сказать о морали словами Мейстера Экхарта: “Я молю Бога, чтобы Он сделал меня свободным от Бога”?

Наш воздух.

Нам это хорошо известно: кто как бы мимоходом и лишь однажды бросает взгляд на науку, подобно женщинам и, к сожалению, также и многим художникам, для того строгость служения ей, эта неумолимость в малом, как и в великом, эта быстрота во взвешивании, суждениях, приговорах, заключает в себе нечто головокружительное и устрашающее. В особенности пугает его то, как здесь требуется труднейшее и делается все возможное без всякой на то похвалы и вознаграждений, скорее, почти только с одними громкими порицаниями и нагоняями, как среди солдат, — ибо хорошая работа считается здесь правилом, а промах исключением; у правила же, как повсюду, запечатаны уста. С этой “строгостью науки” дело обстоит так же, как с формами приличия и учтивостью изысканнейшего общества: она пугает непосвященных. Кто, однако, свyksя с ней, не может и жить иначе, как в этом светлом, прозрачном, крепком, сильно наэлектризованном воздухе, в этом мужественном воздухе. Повсюду в других местах ему недостает чистоты и воздуха: он подозревает, что там его лучшее искусство не пойдет впрок другим и в радость ему самому, что полжизни его уйдет сквозь пальцы на выяснение недоразумений, что нужно будет вечно остерегаться многого, многое скрывать и держать при себе — сплошная и беспрокая трата сил! Но в этой строгой и ясной стихии полностью обнаруживается его сила: здесь может он парить! Зачем же ему наново опускаться в те мутные воды, где надо плавать и переходить вброд и где пачкаешь свои крылья! — Нет! Нам слишком трудно жи ть там; что поделаешь, если мы рождены для воздуха, чистого воздуха, мы, соперники света, если мы, подобно свету, охотнее всего помчались бы по эфирным пылинкам, и не от солнца, а ксолнцу! Но мы не в силах сделать это: так будем же делать то, что мы единственно можем: приносить свет земле, быть “светом земли”! Для этого и даны нам наши крылья и наша быстрота, строгость наша: оттого мы столь мужественны и даже страшны, подобно огню. Пусть же убоятся нас те, кто неспособен греться и светиться нами!

Против клеветников природы.

Мне неприятны люди, у которых каждая естественная склонность тотчас делается болезнью, чем-то извращающим или даже постыдным, — это они совратили нас к мысли, что склонности и влечения человека по природе злы: это на них лежит вина за нашу великую несправедливость по отношению к нашей природе, ко всякой природе! На свете достаточно людей, которые вольны грациозно и беззаботно отдаваться своим влечениям, но они не делают этого из страха перед воображаемой “злой сущностью” природы! Оттого и повелось, что среди людей так мало осталось благородства: признаком его всегда будет отсутствие страха перед собою, когда мы не ждем от себя ничего постыдного, когда летим, очертя голову, куда нас влечет, — нас, свободнорожденных птиц! Куда бы мы ни прилетели, вокруг нас всегда будет вольно и солнечно.

Короткие привычки.

Я люблю короткие привычки и считаю их неоценимым средством узнать многие вещи и состояния вплоть до самой подоплеку их сладостей и горечей; моя природа вполне приспособлена для коротких привычек, даже в потребностях ее телесного здоровья и вообще, насколько я в состоянии видеть: от самого низшего до самого высшего. Всегда я верю, что вот это теперь надолго удовлетворит меня — и короткой привычке свойственно

увлекаться той верой страсти, которая есть вера в вечность, — и что я нашел и узнал это на зависть другим: и вот же питает оно меня в полдень и вечером, разливаясь во мне глубоким довольством, так что я и не влекусь уже к чему-нибудь другому без того, чтобы не сравнивать и не презирать или ненавидеть. Но в один прекрасный день приходит его время: хорошая привычка расстается со мной, не как нечто внушающее теперь отвращение, а умиротворенная и насыщенная мною, как и я ею, и так, словно бы нам пришлось быть благодарными друг другу и протянуть друг другу руки на прощанье. И уже ожидает новая у дверей, а с нею и моя вера — несокрушимая сумасбродка и умница! — в то, что эта новоселка будет настоящей, самой настоящей. Так обстоит у меня с яствами, мыслями, людьми, городами, стихами, музыкой, учениями, распорядками дня, образами жизни. — Напротив, я ненавижу длительные привычки и полагаю, что ко мне приближается некий тиран и что моя жизненная атмосфера сгущается там, где волею событий длительные привычки выглядят какой-то необходимостью: например, в силу должностного положения, в постоянной совместной жизни с одними и теми же людьми, постоянным местожительством, однообразным здоровьем. Да, я из самых глубин души благодарен всему моему злополучию и болезненности и всему, что только есть во мне несовершенного, за то, что оно предоставляет мне сотни лазеек, через которые я могу ускользнуть от длительных привычек. — Конечно, невыносимее всего, самым настоящим ужасом была бы для меня жизнь, полностью лишенная привычек, жизнь, которая постоянно требует импровизации: это было бы моей ссылкой и моей Сибирью.

296

Прочная репутация.

Прочная репутация прежде была вещью крайне полезной; и даже теперь всюду, где общество управляется еще стадным инстинктом, каждому отдельному человеку целесообразнее всего создавать впечатление о своем характере и своих занятиях, как о чем-то неизменном, — даже если они, в сущности, не являются таковыми. “На него можно положиться, у него ровный характер” — вот похвала, которая во всех опасных ситуациях общества значит больше всего. Общество испытывает удовлетворение, обладая надежным, всегда готовым орудием в добродетели одного, в честности другого, в думам и страстях третьего, — оно удостаивает высших почестей это свойство быть орудием, эту верность себе. Эту непреложность в воззрениях, устремлениях и даже пороках. Такая оценка, расцветшая одновременно с нравственностью нравов, процветает повсюду, воспитывает “характеры” и дискредитирует всякое изменение, переучивание, самопреобразование. Сколь бы велика ни была выгода от этого образа мыслей, он во всяком случае представляет для познания самый вредный тип общего суждения: ибо здесь осуждается и дискредитируется именно добрая воля познающего, смело высказывающаяся всякий раз против своего прежнего мнения и вообще недоверчивая ко всему, что хочет в нас укорениться. Душевный строй познающего, будучи в противоречии с “прочной репутацией”, считается нечестным, в то время как окаменелость воззрений осыпается всяческими почестями: под гнетом такой действительности должны мы жить еще и теперь! Как тяжело живется, когда чувствуешь против себя и вокруг себя суждение многих тысячелетий! Возможно, в течение многих тысячелетий познание было запятнано нечистой совестью, и сколько же самопрезрения и тайного убожества должно было быть в истории величайших умов.

297

Уметь противоречить.

Всякому нынче известно, что умение сносить противоречие есть признак высокой культуры. Некоторые знают даже, что более развитый человек ищет противоречия и накликает его себе, чтобы получить через него некое указание на неведомую ему донныне несправедливую черту его характера. Но уметь противоречить, достичь чистой совести при враждебном отношении ко всему расхожему, традиционному, канонизированному — это больше, чем и то и другое, и представляет собою нечто действительно великое, новое, удивительное в нашей культуре, самый решительный шаг освобожденного ума; кто это знает?

298

Вздых.

Я поймал эту внезапную мысль попутно и наспех воспользовался ближайшими случайными словами, чтобы связать ее и не дать ей снова улечься. А теперь она умерла в этих резких словах и висит и болтается в них, — я же, глядя на нее, едва уже при проминаю, отчего я мог так радоваться, поймав эту птицу.

299

Чему следует учиться у художников.

Какими средствами располагаем мы, чтобы сделать вещи прекрасными, привлекательными, достойными желания, если они не таковы? — а я полагаю, что сами по себе они всегда не таковы! Здесь нам есть чему

поучиться у врачей, когда они, например, разводят горькое снадобье или смешивают вино и сахар; но еще больше у художников, которые, собственно, и не делают ни чего иного, как занимаются подобными выдумками и кунштюками. Удаляться от вещей на такое расстояние, когда многого в них уже не видно и многое должно быть к ним привидено (*hinzusehen*), чтобы можно было еще их видеть, — или рассматривать вещи под углом и как бы в срезе, — или устанавливать их так, чтобы они частично загораживали друг друга и смотрелись только в перспективе, — или глядеть на них сквозь окрашенное стекло либо при сумеречном освещении, — или покрывать их полупрозрачной поверхностью и пленкой — всему этому следует нам учиться у художников, а в остальном быть мудрее их. Ибо эта утонченная сила обыкновенно прекращается у них там, где прекращается искусство и начинается жизнь; мы же хотим быть поэтами нашей жизни, и прежде всего в самом мелком и обыденном!

300

Прелюдии науки.

Верите ли вы в то, что науки возникли бы и достигли зрелости, если бы им не предшествовали кудесники, алхимики, астрологи и ведьмы, те самые, кто своими предсказаниями и подтасовками должны были сперва вызвать жажду, голод и вкус к скрытым и запретным силам? И что при этом должно было быть предсказано бесконечно больше, чем может быть когда-либо исполнено, дабы в области познания вообще исполнилось нечто? — Может быть, аналогично тому, как нам здесь предстают прелюдии и предварительные усилия науки, которые отнюдь не практиковались и не воспринимались как таковые, какой-то далекой эпохе предстанет неким упражнением и прелюдией и вся религия: возможно, ей удалось бы быть диковинным средством для того, чтобы отдельные люди смогли однажды насладиться всем самодовольством некоего Бога и всей его силой самоискупления. Да! — можно даже спросить — научился бы вообще человек без этой религиозной школы и предыстории ощущать голод и жажду по самому себе и черпать из себя насыщение и полноту? Должен ли был Прометей сначала грезить, что он похитил свет, и расплачивается за это, чтобы открыть, наконец, что он сотворил свет, как раз стремясь к свету, и что не только человек, но и сам Бог был творением его рук и глиной в его руках? И что все это только образы ваятеля? — равно как и грезы, кража, Кавказ, коршун и вся трагическая прометейя познающих?

301

Мираж созерцателей.

Развитые люди отличаются от неразвитых тем, что несказанно больше видят и слышат, при этом видят и слышат, мысля, — именно это отличает человека от животного и высших животных от низших. Мир предстает всегда полнее тому, кто растет в высоту человечества; все больше крючков интереса закидываются ему навстречу; постоянно умножаются приманки и равным образом нюансы удовольствия и неудовольствия — более развитый человек всегда бывает счастливее и в то же время несчастнее. Но при этом его неизменным спутником остается один мираж: ему мнится, что он призван быть зрителем и слушателем великой драмы и оперы, именуемой жизнью; он называет свою натуру созерцательной и упускает при этом из виду, что сам он и есть доподлинный и бессменный автор жизни, — что он хоть и отличается весьма от лицедея этой драмы, так называемого активного человека, но еще больше от простого наблюдателя и праздничного гостя, сидящего перед подмостками. Ему, как поэту, присущи, конечно, *vis contemplativa* и ретроспективный взгляд на свое творение, но в то же время и прежде всего свойственна ему *vis creativa*, недостающая активному человеку, что бы ни говорили на этот счет очевидность и всеобщее мнение. Мы, мысляще-чувствующие создания, и являемся теми, кто всегда и на самом деле делают что-то такое, чего еще нет: целый вечно растущий мир оценок, красочностей, значимостей, перспектив, градаций, утверждений и отрицаний. Этот сочиняемый нами вымысел непрерывно заучивается, репетируется, облекается в плоть и действительность, даже в повседневность так называемыми практическими людьми (нашими, как сказано, лицедеями). Все, что имеет ценность в нынешнем мире, имеет ее не само по себе, не по своей природе — в природе нет никаких ценностей, — но оттого, что ему однажды придали ценность, подарили ее, и этими даятелями и дарителями были мы! Только мы и создали мир, до которого есть какое-то дело человеку! — Но как раз этого-то знания и недостает нам, и если мы улавливаем его однажды на мгновение, то в следующее мгновение снова забываем о нем: мы не знаем лучшей нашей силы и оцениваем себя, созерцателей, на одну ступень ниже — мы не столь горды и не столь счастливы, как могли бы быть.

302

Опасность счастливейшего.

Иметь тонкие чувства и утонченный вкус; привыкнуть к изысканным и наилучшим сторонам духа, как с правильным и насыщенным режимом питания; наслаждаться сильной, смелой, отважной душой; со спокойным

взором и твердым шагом проходить жизнь, всегда готовясь к самому крайнему, как к празднику, и исполняясь стремления к неизведанным мирам и морям, людям и богам; вслушиваться во всякую более веселую музыку, словно бы там устроили себе короткий отдых и удовольствие храбрые мужи, солдаты, мореплаватели, и в глубочайшем наслаждении мгновением не выдерживать натиска слез и всей пурпурной меланхолии счастливец — кто бы не хотел иметь всего этого в своем обладании, своим состоянием! Таково было счастье Гомера! Состояние того, кто выдумал грекам их богов — нет, самому себе своих богов! Но не будем скрывать этого от себя: с этим Гомеровым счастьем в душе оказываешься самым чувствительным к боли созданием под солнцем! И лишь такой ценой покупаешь драгоценнейшую раковину из всех выброшенных доселе на берег волнами существования! Обладать ею — значит делаться все более чутким к страданию и, наконец, слишком чутким: маленького недовольства и отвращения было в конце концов достаточно, чтобы отравить Гомеру жизнь. Он не мог разгадать глупой загадки, загаданной ему молодыми рыбаками! Да, маленькие загадки суть опасность счастливейших!

303

Два счастливец.

Истинно, этот человек, несмотря на свою молодость, знает толк в импровизации жизни и повергает в изумление даже тончайшего наблюдателя: кажется, что он не допускает промахов, хотя непрерывно ведет рискованнейшую игру. На память приходят те импровизирующие мастера музыкального искусства, которым слушатель невольно приписывал божественную непогрешимость руки, несмотря на то что и им приходилось временами брать неверные ноты, как и всякому смертному. Но они были натренированы и изобретательны и каждое мгновение готовы к тому, чтобы тотчас включить случайнейшую ноту, капризно подвернувшуюся под палец, в тематическое строение и оживить случай прекрасным смыслом и душой. — Здесь же совершенно иной человек: ему, в сущности, не удастся ничего из того, что он хочет и планирует. То, к чему его по случаю влекло, не раз уже приводило его к бездне и грозило ему неминуемой гибелью; и если он ускользал от нее, то уж наверняка не “с одним синяком под глазами”. Вам кажется, он несчастен от этого? Он давно решил про себя не придавать особого значения собственным желаниям и планам. “Если мне не удастся одно, — так убеждает он себя, — то, пожалуй, удастся другое, и в целом я не знаю, не обязан ли я своим неудачам большей благодарностью, чем каким-либо удачам. Разве я создан для того, чтобы быть упрямым и носить, подобно быку, рога? То, что составляет ценность и цель моей жизни, лежит где-то вне меня самого; моя гордость и равным образом мое злополучие не зависят от меня. Я знаю больше о жизни, поскольку так часто бывал близок к тому, чтобы потерять ее: и как раз поэтому я имею от жизни больше, чем все вы вместе!”

304

Действуя, мы оставляем.

В сущности, мне противны все морали, которые гласят: “Не делай этого! Отрекись! Преодолей себя!” — напротив, я расположен к таким моралиям, которые побуждают меня вечно что-то делать и с утра до вечера и ночью грезить и не думать ни о чем другом, как только о том, чтобы сделать это хорошо, настолько хорошо, как один я и в состоянии сделать! Кто живет такой жизнью, от того постоянно одно за другим отпадает все не подобающее ей: без ненависти и отвращения расстается он сегодня с одним, а завтра с другим, пожелтевшими листьями, срываемыми с дерева каждым дуновением ветерка: он даже и не видит этого расставания — столь строго устремлен его взор к своей цели и всегда вперед, ни в сторону, ни назад, ни вниз... “Нашим поступкам определять, что мы должны оставить: действуя, мы оставляем” — вот так мне это нравится, так гласит мой *placitum*. Но я не хочу с открытыми глазами стремиться к своему обеднению, я не люблю никаких отрицательных добродетелей — добродетелей, сама сущность которых есть отрицание и самоотказ.

305

Самообладание.

Те моралисты, которые прежде всего и поверх всего рекомендуют человеку взять себя в руки, навлекают тем самым на него своеобразную болезнь: постоянную раздражительность, сопровождающую его при всех естественных побуждениях и склонностях, словно некий зуд. Что бы отныне ни толкало его, ни влекло, ни прельщало, ни побуждало, изнутри или извне — вечно этому брызге кажется, будто теперь его самообладанию грозит опасность: он больше не доверяется никакому инстинкту, никакому свободному взмаху крыл, но постоянно пребывает в оборонительной позе, вооруженный против самого себя, напряженно и недоверчиво озираясь вокруг, вечный вахтер своей крепости, на которую он обрек себя. Да, он может достичь величия в этом! Но как ненавистен он теперь другим, как тяжок самому себе, как истощен и отрезан от прекраснейших случайностей души! И даже от всех дальнейших поучений! Ибо следует уметь вовремя забыться, если мы хотим чему-то научиться у вещей, которые не суть мы сами.

Стоики и эпикурейцы.

Эпикуреец выискивает себе такие положения, таких лиц и даже такие события, которые подходят к крайне чувствительной устроенности его интеллекта; от прочего — стало быть, почти от всего — он отказывается, так как оно было бы для него слишком тяжелой и неперевариваемой пищей. Стоик, напротив, умудряется проглатывать камни и червей, осколки стекла и скорпионов, не испытывая при этом отвращения; его желудок должен в конце концов стать невосприимчивым ко всему, что сыпает в него случайность существования: он напоминает ту арабскую секту ассуев, которых можно увидеть в Алжире; и, подобно этим непривередникам, он и сам охотно сзывает публику при демонстрации своей непривередливости, публику, без которой охотно обходится эпикуреец — у него ведь есть свой “сад”! Для людей, которыми импровизирует судьба, для тех, кто живет в насильственные времена и пребывает в зависимости от взбалмошных и непредсказуемых людей, стоицизм может оказаться весьма желательным. Но тот, кто до некоторой степени предвидит, что судьба позволит ему прясть долгую нить, поступит благоразумно, устроившись по-эпикурейски; все люди умственного труда до сих пор делали это! Им и было бы это потерей из потерь — лишиться утонченной чувствительности и получить взамен стоическую толстокожесть, утыканную иглами.

В пользу критики.

Теперь нечто предстает тебе заблуждением, то, что прежде ты любил как истину или правдоподобность: ты отталкиваешь это от себя и мнишь, что разум твой одержал здесь победу. Но, возможно, прежде, пока ты был еще другим — а ты всегда другой, — это заблуждение было тебе столь же необходимо, как все твои нынешние “истины”, — было словно некой кожей, которая многое утаивала и скрывала от тебя из того, чего тебе не следовало еще видеть. Твоя новая жизнь — не твой разум — расправилась с прежним твоим мнением: ты больше не нуждаешься в нем, и вот оно рушится само собою, и неразумность выползает из него, словно некое пресмыкающееся, на свет Божий. Когда мы занимаемся критикой, то в этом нет ничего произвольного и безличного, — это, по крайней мере очень часто, служит доказательством того, что в нас есть живые движущие силы, сдирающие кору. Мы отрицаем и должны отрицать, поскольку нечто хочет в нас жить и утвердиться, нечто такое, чего мы, возможно, еще не знаем, еще не видим! Это в пользу критики.

История всякого дня.

Из чего складывается в тебе история всякого дня? Взгляни на свои привычки, из которых она состоит: являются ли они плодами бесчисленных маленьких трусостей и леностей или обязаны своим существованием твоей отваге и изобретательному уму? Сколь бы ни разнились оба случая, могло бы случиться, что люди расточали бы тебе одинаковую хвалу и что ты и в самом деле принес бы им в обоих случаях одинаковую пользу. Но похвала, польза и почтенность могут довести до того, кто хочет стяжать себе только чистую совесть, — на тебе, домогателю глубин, сведущему по части совести!

Из седьмого одиночества.

Однажды странник захлопнул за собою дверь, остановился и начал плакать. Потом он сказал: “Этот сыр-бор вокруг истинного, действительного, немногого, достоверного! Как я зол на него! Отчего меня погоняет как раз этот мрачный и пылкий погонщик! Мне хотелось бы отдохнуть, но он не дает мне этого. Что только не соблазняет меня остановиться! Повсюду раскинулись сады Армиды: и, значит, все новые разрывы и новые горечи сердца! Я должен дальше влачить ноги, эти усталые, израненные ноги; и, поскольку мне приходится делать это, часто я угрюмо озираюсь на прекраснейшее, не смогшее меня удержать — оттого именно, что оно не смогло меня удержать!”

Воля и волна.

Как жадно подступает эта волна, словно рассчитывая достичь чего-либо! С какой страшщей проворностью вползает она в сокровеннейшие уголки скалистых ущелий! Кажется, она хочет кого-то опередить; кажется, что там запрятано нечто, имеющее цену, большую цену! — И вот она возвращается, чуть медленнее, все еще совсем белая от волнения, — разочарована ли она? Нашла ли она то, что искала? Притворяется ли разочарованной? —

Но уже надвигается другая волна, более ненасытная и дикая, чем первая, и вновь душа ее, казалось бы, исполнена тайн и прихотей кладоискателя. Так живут волны — так живем мы, волящие! — большего я не скажу... — Вот как? Вы не доверяете мне? Вы сердитесь на меня, вы, прекрасные чудовища? Бойтесь, что я выдам всю вашу тайну? Что ж! Сердитесь себе, вздымайте свои зеленые опасные туловища как можно выше, воздвигайте стену между мною и солнцем — совсем как теперь! Истинно, уже ничего не осталось от мира, кроме зеленых сумерек и зеленых молний. Поступайте, как вам вздумается, вы, спесивцы, ревите от удовольствия и злобы — или заново ныряйте, стряхивайте в глубину свои изумруды, разбрасывайте повсюду свои бесконечные белые космы пены и брызг — меня устраивает все это, ибо все это так идет вам, и я так признателен вам за все: как же это я стану вас выдавать! Ибо — заметьте себе! — я знаю вас и вашу тайну, я знаю ваш род! Вы ит я, мы ведь одного рода! — Вы и я, у нас ведь одна тайна!

311

Преломленный свет.

Не всегда бываешь храбрым, и в миги усталости можешь, пожалуй, позволить себе и жалобу. “Так тяжело причинять людям боль, — но это, увы, необходимо! Какая нам польза жить скрытно, если мы не хотим удерживать при себе свою досаду? Не разумнее ли было бы жить в мирской суете и исправлять в отношениях с отдельными людьми то, в чем приходится грешить по отношению ко всем? Быть глупым с глупцом, тщеславным с тщеславцем, мечтательным с мечтателем? Разве это не было бы справедливым, когда вокруг царит такое заносчивое отклонение во всем? Стоит лишь мне услышать о злых действиях против меня со стороны других — разве первым моим чувством не бывает чувство удовлетворения? Так и надо! — говорю я им как бы, — ведь я мало в чем похож на вас, и на моей стороне так много правды; все-таки проведите денек за мой счет, как вам сможет! Вот мои недостатки и промахи, вот мои грезы, моя безвкусица, моя запутанность, мои слезы, мое тщеславие, мои совиная укромность, мои противоречия! Тут вам есть чему посмеяться! Так смейтесь же и радуйтесь! Я не злюсь на закон и природу вещей, которым угодно, чтобы недостатки и промахи вызывали радость! — Конечно, некогда были “более прекрасные” времена, когда могли еще при каждой более или менее новой мысли чувствовать себя столь незаменимыми, что выбегали с нею на улицу и кричали первому попавшемуся: “Смотри! Царство Небесное приблизилось!” — Я не почувствовал бы своего отсутствия, если бы меня не было. Можно обойтись без всех нас!” — Но, как сказано, мы не думаем так, покуда мы храбры: мы тогда вовсе не думаем об этом.

312

Моя собака.

Я дал своей боли имя и зову ее “собакой” — она столь же верна, столь же назойлива и бесстыдна, столь же занимательна, столь же умна, как и всякая другая собака, — и я могу прикрикнуть на нее и выместить на ней свое дурное настроение, как это делают другие со своими собаками, слугами и женами.

313

Никаких изображений мученичества.

Я хочу поступить, как Рафаэль, и не изображать больше никаких мученических сцен. В митре достаточно возвышенных вещей, чтобы искать возвышенное там, где оно связано тесными узами с жестокостью; к тому же мое честолюбие ни чуть не было бы удовлетворено, если бы мне вздумалось строить из себя изощренного палача.

314

Новые домашние животные.

Я хочу иметь возле себя моего льва и моего орла, чтобы всегда и меть знаки и знамения того, насколько велика или насколько мала моя сила. Должен ли я сегодня смотреть на них сверху вниз и страшиться их? И настанет ли час, когда они посмотрят на меня снизу вверх, полные страха?

315

О смертном часе.

Бури — моя опасность: будут ли у меня своя буря, от которой я погибну, как погиб Оливер Кромвель от своей бури? Или я погасну. Как свеча, которую задувает не ветер, но которая сама устает от себя и пресыщается собою, — выгоревшая свеча? Или, наконец: задую ли я сам себя, чтобы не выгореть?

316

Люди с пророческим даром.

Вам и в голову не приходит, что люди, обладающие пророческим даром, являются большими страдальцами: вы думаете лишь, что им дан некий необычный “дар”. И сами были бы не прочь обладать таковым, — но я, пожалуй, выражусь путем сравнения. Как, должно быть, сильно страдают животные от воздушного и облачного электричества! Мы видим, что некоторые из них обладают способностью предвещать погоду, например обезьяны (что вполне можно еще наблюдать даже в Европе, и не только в зверинцах: именно, на Гибралтаре). Но нам и в голову не приходит, что пророчествуют в них — их боли! Когда сильный заряд положительного электричества под воздействием надвигающейся, остающейся еще долгое время скрытой тучи превращается в отрицательный заряд, предвещая перемену погоды, эти животные ведут себя так, словно приближается враг, и изготавливаются к обороне или к бегству; в большинстве случаев они прячутся — плохая погода для них не погода вовсе, а враг, близость которого они уже чувствуют.

317

Взгляд назад.

Мы редко сознаем действительный пафос каждого периода жизни, покуда находимся в нем самом; нам кажется всегда, что это — единственное возможное для нас теперь и разумное состояние и, стало быть, этос, а не пафос, — говоря и различая вместе с греками. Несколько музыкальных тонов воскресили сегодня в моей памяти зиму, дом и крайне отшельническую жизнь, и в то же время душевное состояние, в котором я тогда пребывал: мне казалось, я способен жить так вечно. Но теперь я понимаю, что это было только пафосом и страстью, чем-то схожим с этой скорбно-мужественной и утешительной музыкой, — такое нельзя переживать годами, а тем более вечно: можно было бы стать тогда слишком “неземным” для этой планеты.

318

Мудрость в боли.

В боли столько же мудрости, сколько и в удовольствии: подобно последнему, она принадлежит к родоохранительным силам первого ранга. Не будь она такой, она давно исчезла бы; то, что от нее страдают, вовсе не является аргументом против нее: такова ее сущность, Мне чудится в боли команда капитана корабля: “Убрать паруса!” Управлять парусами на тысячу ладов — этому должен был выучиться отважный мореходец, “человек”, иначе с ним было бы слишком быстро покончено, и океан вскоре поглотил бы его. Мы должны уметь жить и с убавленной энергией: стоит только боли подать свой аварийный сигнал, как наступает время убавить энергию — приближается какая-то большая опасность, какая-то буря, и мы поступим умно, если “вспучимся” как можно меньше. — Правда, есть люди, которые при наступлении большой боли слышат как раз противоположную команду и никогда не высовываются более гордо, воинственнее и счастливее, чем при надвигающейся буре; и да, само страдание дарует им величайшие их мгновения! Это — героические люди, великие бичи человечества: те немногие или редкие, которые нуждаются в такой же апологии, как и боль вообще, — и истинно! не следует им в ней отказывать! Это — родоохранительные, родопокровительственные силы первого ранга, и уже хотя бы тем только, что они противятся уюту и не скрывают своего отвращения к этому рода счастью.

319

В качестве толкователей нашей жизни.

Всем основателям религий и им подобным остался чужд один род честности: они никогда не делали из своих переживаний предмета познания. “Что я собственно пережил? Что происходило тогда во мне и вокруг меня? Был ли мой разум достаточно просветлен? Сопротивлялась ли моя воля всяческим обманам чувств и храбро ли она защищалась от всего фантастического?” — так не спрашивал никто из них, так и сейчас еще не спрашивают все славные благочестивцы: они, скорее, жаждут вещей, свидетельствующих против разума, и не слишком утруждают себя утолением этой жажды — таким путем переживают они “чудеса” и “возрождения” и внемлют голосам ангелочков! Но мы, другие, жаждущие разума, хотим смотреть в глаза нашим переживаниям столь же строго, как на научный опыт, час за часом, день за днем! Мы сами хотим быть собственными экспериментами и подопытными животными!

320

При свидании.

А: “Вполне ли еще я тебя понимаю? Ты ищешь? Ищешь, где среди сущего нынче мира затерялись твой уголок и звезда? Где можешь ты прилечь на солнце так, чтобы и на тебя низошел избыток блага и чтобы существование

твое оправдало себя? Пусть каждый делает это для самого себя — так, кажется, говоришь ты мне, — а общие разговоры, заботу о других и обществе пусть выбьет себе из головы!” — Б: “Я хочу большего, я вовсе не ищущий. Я хочу сотворить себе собственное солнце”.

321

Новая осторожность.

Не будем впредь так много думать о наказании, порицании и исправлении! Отдельного человека редко удастся нам изменить; а если бы нам и удалось это, то, возможно, вместе с этим незаметно удалось бы и нечто другое: мы и сами были бы им изменены! Позаботимся, скорее, о том, чтобы наше собственное влияние на все грядущее уравновешивало и перевешивало его влияние! Не будем вступать в прямую борьбу! — и это ведь было бы уже порицанием, наказанием и стремлением к исправлению. Но возвысимся сами все выше! Придадим нашему идеалу все более яркие краски! Затемним нашим светом другого! Нет! Мы не хотим ради него делаться более темными, подобно всем наказывающим и недовольным! Отойдем-ка лучше в сторону! Отвратим наши взоры!

322

Притча.

Те мыслители, в которых все звезды движутся по круговым путям, не суть самые глубокие; кто всматривается в себя как в чудовищное мировое пространство и носит в себе Млечные Пути, тому известно также, как беспорядочны все Млечные Пути; они заводят в хаос и лабиринт бытия.

323

Счастье в судьбе.

Судьба оказывает нам величайшее внимание, позволяя нам некоторое время сражаться на стороне наших противников. Тем самым предназначена нам великая победа.

324

In media vita!

Нет! Жизнь не разочаровала меня! Напротив, из года в год нахожу я ее более истинной, более желанной, более таинственной — с того самого дня, когда меня осенила великая освободительница: мысль о том, что жизни суждено быть экспериментом познающего, — а не долгом, не напастью, не мошенничеством! — И само познание: пусть для других будет оно чем-то иным, скажем некой опочивальней или путем к некой опочивальне, или развлечением, или праздностью, — для меня оно есть мир опасностей и побед, в котором и героическим чувствам дано танцевать и развиваться. “Жизнь — средство познания” — с этим тезисом в сердце можно не только храбро, но даже весело жить и весело смеяться! А кто сумел бы вообще хорошо смеяться и жить, не сумей он прежде хорошо воевать и побеждать?

325

Что принадлежит к величию.

Кто достигнет чего-нибудь великого, если он не ощущает в себе силы и решимости причинять великие страдания? Уметь страдать — самое последнее дело: слабые женщины и даже рабы часто достигают в этом мастерства. Но не сгинуть от внутренней муки и неуверенности, причиняя великое страдание и внемля крику этого страдания, — вот что действительно принадлежит к величию.

326

Врачеватели души и страдание.

Всем проповедникам морали, а также и всем теологам свойственна одна общая дурная привычка: они хотят внушить людям, что дела обстоят весьма скверно и что требуется жесткое, крайнее, радикальное лечение. И поскольку люди, все, как один, слишком ревностно и целыми столетиями подставляли ухо этим учителям, им в конце концов действительно передалось нечто от того суеверия, что с ними обстоит довольно скверно, так что теперь они весьма охочи до того, чтобы стонать и не находить в жизни ничего больше и корчить друг другу омраченные рожи, словно бы им и в самом деле не вмоготу. В действительности они необузданно уверены в жизни и влюблены в нее, исполненные несказанных хитростей и уловок, чтобы одолеть любую неприятность и вырвать жало у страдания и злосчастья. Мне кажется, что о страдании и злосчастье говорится всегда в преувеличенных тонах, как если бы преувеличение выглядело здесь хорошим тоном; напротив, умышленно

умалчивают о том, что существует уйма болеутоляющих средств против страдания, как-то: обезболивание, лихорадочная торопливость мыслей, спокойная поза, хорошие и дурные воспоминания, намерения, надежды и множество видов гордости и сочувствия, обладающих почти анестезирующим действием, тогда как при высших степенях страдания уже сам по себе наступает обморок. Мы горазды в подслащивании наших горечей, в особенности же душевных горечей; мы находим вспомогательные средства в нашей храбрости и возвышенных состояниях, как и в более благородных горячках покорности и резиняции. Потеря остается потерей едва ли в течение одного часа; откуда ни возьмись, падает нам с неба подарок — скажем, новая сила или хотя бы даже новый повод для обнаружения силы! Чего только не нафантазировали проповедники морали о внутреннем “убожестве” злых людей! Чего только не налгали они нам о несчастье людей, подверженных страстям! — да, “ложь” здесь весьма уместное слово: они были прекрасно осведомлены о бьющем через край счастье этого типа людей, но хранили на сей счет гробовое молчание, так как это оказывалось опровержением их теории, согласно которой всякое счастье наступает лишь с уничтожением страсти и с подавлением воли! Что же касается рецепта всех этих врачевателей души и расхваливания ими жестокого, радикального лечения, то позволительно спросить: достаточно ли болезненна и тягостна на самом деле эта наша жизнь, чтобы с выгодой обменивать ее на стоический образ жизни и оцепенение? Мы чувствуем себя недостаточно скверно для того, чтобы быть вынужденными чувствовать себя скверно по-стоически!

327

Принимать всерьез.

У подавляющего большинства людей интеллект представляет громоздкую, подозрительную, скрипучую машину, завести которую — одна волокита: они называют это “серьезно относиться к делу”, когда намереваются поработать и хорошенько подумать этой машиной — о, сколь тягостно должно быть им это шевеление мозгами! Славная бестия, человек, теряет, по-видимому, хорошее настроение всякий раз, когда хорошо думает: он делается “серьезным”! И “где смех и веселье, там мысли нет дела” — так звучит предрассудок этой серьезной бестии против всякой “веселой науки”. — Ну что ж! Покажем, что это предрассудок!

328

Наносить вред глупости.

Разумеется, столь затяжно и убежденно проповедуемая вера в негодность эгоизма нанесла в целом эгоизму вред (в пользу — я буду повторять это сотни раз — стадным инстинктам) тем именно, что лишила его чистой совести и велела искать в нем доподлинный источник всякого несчастья. “Твое себялюбие — беда твоей жизни” — так проповедовали тысячелетиями: это, как было уже сказано, вредило себялюбию и лишало его во многом ума, веселости, изобретательности, красоты; это оглупляло, уродовало и отравляло себялюбие! — Философия древности, напротив, учила о другом главном источнике бед: начиная с Сократа мыслители не уставали проповедовать: “Ваше умственное убожество и глупость, ваше беспечное существование по правилам, ваша подчиненность мнению соседа — вот причина того, почему вы столь редко бываете счастливыми, — мы, мыслители, суть счастливейшие люди, именно как мыслители”. Не будем решать здесь, была ли эта проповедь против глупости более основательной, чем та проповедь против себялюбия; несомненно, однако, то, что она лишила глупость чистой совести: эти философы нанесли вред глупости!

329

Досуг и праздность.

Какая-то краснокожа, свойственная индейской крови дикость обнаруживается в способе, каковым американцы домогаются золота; и их лихорадочный темп работы — сущий порок Нового Света — начинает уже заражать дикость старую Европу и распространять по ней диковинную бездуховность. Нынче уже стыдятся покоя; длительное раздумье вызывает почти угрызения совести. Думают с часами в руке, подобно тому как обедают с глазами, вперенными в биржевой лист, — живут как кто-то, постоянно могущий “упустить нечто”. “Лучше делать что-нибудь, чем ничего не делать” — и этот принцип оказывается петлей, накинутой на всякое образование и всякий более развитый вкус. И поскольку в этой рабочей спешке явным образом исчезают все формы, то исчезает также и само чувство формы, способность слышать и видеть мелодию движений. Доказательством тому служит требуемая нынче повсюду топорная ясность во всех ситуациях, где человек хочет быть честным с людьми: в общении с друзьями, женщинами, родственниками, детьми, учителями, учениками, начальниками и правителями, — нет уже больше ни времени, ни силы на церемонии, на вкрадчивые любезности, на всяческий *esprit* развлечений и вообще всяческий *otium*. Ибо жизнь в охоте за прибылью вечно принуждает к тому, чтобы на износ растрачивать ум в постоянном притворстве, коварных хитростях или опережении: доподлинной добродетелью оказывается теперь умение сделать что-либо в более короткий срок, чем это удастся другому. И, таким образом, лишь редкие часы отведены дозволенной честности, но к этому времени уже устают

и хотят не только “расслабиться”, но и растянуться вдосталь и самым пошлым образом. Под стать этой склонности пишут нынче и письма; их стиль и дух всегда будут действительным “знамением времени”. Если еще находят удовольствие в обществе и искусствах, то это схоже с удовольствием, которое надумывают себе заработавшиеся рабы. О, уж эта невзыскательность “радости” у наших образованных и необразованных! О, уж эта нарастающая подозрительность ко всякой радости! Работа все больше и больше перетягивает на свою сторону всю чистую совесть: склонность к радости называется уже “потребностью в отдыхе” и начинает стыдиться самой себя. “Мы в долгу перед нашим здоровьем” — так говорят в случае, если оказываются застигнутыми на каком-нибудь пикнике. Да, в скором времени могло бы даже дойти до того, что склонности к *vita contemplativa* (т. е. к прогулкам с мыслями и друзьями) поддавались бы не иначе, как презирая себя и с нечистой совестью. — Что ж! Прежде все было наоборот: нечистая совесть принадлежала самой работе. Человек хорошего происхождения скрывал свою работу, когда его приводила к ней нужда. Раб производил свою работу под гнетом чувства, что он делает нечто презренное, — само “делание” было чем-то презренным. “Знатность и почет возможны лишь при *otium* и *bellum*” — так звучал голос античного предрассудка!

330

Одобрение.

Мыслитель не нуждается в одобрении и рукоплесканиях, если только он уверен в собственных рукоплесканиях себе: без них же обойтись он не может. Есть ли люди, которые не нуждаются и в этом и вообще во всякого рода одобрении? Сомневаюсь, даже о наиболее мудрых говорит Тацит, которого никак не назовешь клеветником мудрецов: *quando etiam sapientibus gloriae cupido novissima exuitur* — это значит у него: никогда.

331

Лучше глухим, чем оглушенным.

Прежде заботились о собственном добром имени: теперь этого недостаточно, так как базар стал слишком большим — нужен большой шум. Итог таков, что надрываются даже хорошие глотки, и лучшие товары предлагаются к продаже сиплыми голосами; нынче нет уже гения без базарного крика и сиплости. — Конечно, для мыслителя настали скверные времена: он вынужден учиться между двух смежных шумов находить свою тишину и притворяться глухим, покуда и сам не оглохнет. Пока же он не выучился еще этому, ему, разумеется, грозит опасность погибнуть от нетерпения и головной боли.

332

Злой час.

Должно быть, у каждого философа был свой злой час, когда он думал: какой во мне толк, раз не верят даже плохим моим аргументам! — И тогда пролетала над ним какая-то злорадная птичка и чирикала: “Какой в тебе толк! Какой в тебе толк!”

333

Что значит познавать?

Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere! — говорит Спиноза с подобающей ему простотой и возвышенностью. А между тем, что же, в сущности, есть это *intelligere*, как не форма, в которой нами одновременно воспринимаются перечисленные три действия? Результат различных и противоречащих себе побуждений к смеху, плачу, проклятию? Прежде чем познание станет возможным, каждое из этих побуждений должно утвердиться в своем одностороннем взгляде на вещь или происшествие; вслед за тем возникает борьба этих односторонностей, а из нее временами — равновесие, успокоение, оправдание всех трех сторон, некоего рода справедливость и как бы договор, ибо благодаря справедливости и договору эти три побуждения могут утверждаться в существовании и поддерживать друг друга в своей правоте. Мы, осознающие лишь последние сцены примирения и итоговые результаты этого длительного процесса, полагаем соответственно, что *intelligere* есть нечто примирительное, справедливое, доброе, нечто существенно противоположное побуждениям, тогда как оно есть лишь определенное отношение побуждений друг к другу. С незапамятных времен рассматривали сознательное мышление как мышление вообще; только сейчас брезжит нам истина, что наибольшая часть наших духовных процессов протекает в нас бессознательно, бесчувственно; я думаю, однако, что эти побуждения, которые борются здесь друг с другом, вполне способны терзать друг друга и причинять друг другу боль: то сильное внезапное истощение, которому подвергаются все мыслители, возможно, коренится именно здесь (это — истощение на поле битвы). Возможно даже, что в нашей воюющей душе свершается некое скрытое геройство, но наверняка в ней нет ничего Божественного, вечно-в-себе-покоящегося, как полагал Спиноза. Сознательное мышление, в особенности мышление философа, есть бессильнейший и оттого соответственно умереннейший и

спокойнейший род мышления, и, стало быть, именно философ легче всего может быть введен в заблуждение относительно природы познания.

334

Надо учиться любить.

Так обстоит у нас с музыкой: сначала нужно вообще научиться слушать какую-нибудь фигурацию и мелодию, выслушивать, различать, изолировать и ограничивать ее как некую довлеющую себе жизнь; затем требуется стремление и добрая воля выдержать ее и, несмотря на ее необычность, выработать терпение к формам ее проявления и выражения, отзывчивость ко всему дикийнному в ней, — наконец, наступает мгновение, когда мы к ней привыкаем, когда мы ждем ее, когда мы предчувствуем, что ее нам недоставало бы, если бы ее недоставало; и вот она все больше и больше распространяет свой нажим и очарование и не останавливается до тех пор, покуда мы не станем ее смиренными и восхищенными поклонниками, которым и не нужно от мира ничего большего, кроме нее и только нее. — Так, впрочем, обстоит у нас не только с музыкой: именно так мы научились любить все вещи, которые мы теперь любим. Мы всегда в итоге вознаграждаемся за нашу добрую волю, наше терпение, справедливость, кротость к необычному, когда необычное медленно отбрасывает свое покрывало и предстает новой несказанной красотой, такова его благодарность за наше гостеприимство. Даже тот, кто любит самого себя, научился любви на этом пути: другого пути не существует. И любви надо учиться.

335

Да здравствует физика!

Сколько же людей умеют наблюдать! И среди немногих, умеющих это, — сколько наблюдают самих себя! “Каждый наиболее чужд самому себе” — это знают, к своему неудовольствию, все домогатели глубин, и изречение “познай самого себя!”, в устах бога и обращенное к человеку, звучит почти как колкость. Что, однако, с самонаблюдением обстоит столь безнадежно, об этом ничто не свидетельствует так, как манера, с которой почти каждый разглагольствует о сущности какого-либо морального поступка, эта быстрая, усердная, убежденная, болтливая манера с присущим ей взглядом, улыбкой, услужливым рвением! Словно бы тебе хотят сказать: “Однако, милый мой, это как раз по моей части! Ты обращаешься с твоим вопросом к тому, кто вправе ответить: случайным образом я ни в чем не смыслю так, как в этом. Итак, если человек судитб “вот так это будет правильно”, если он заключает на этом основании: “поэтому это должно случиться!” и потом уже поступает сообразно тому, что он нашел правильным и необходимым, — то сущность его поступка моральна!” Но, друг мой, ты говоришь здесь о трех поступках вместо одного: твое суждение, к примеру, “вот так это будет правильно” есть также поступок — разве нельзя было бы судить и о нем моральным и неморальным способом? Почему считаешь ты это и именно это правильным? “Потому что об этом говорит мне моя совесть; совесть никогда не говорит неморально, только она и определяет, чему быть моральным!” — Но почему ты повинешься тому, что говорит твоя совесть? И насколько вправе ты рассматривать такое суждение как истинное и необманчивое? Нет ли больше никакой совести — для этой веры? Известно ли тебе что-нибудь об интеллектуальной совести? Совесть, скрытой за твоей “совестью”? Твое суждение “вот так это будет правильно” имеет предысторию в твоих влечениях, склонностях, антипатиях, опытах и неискушенностях. “Как оно могло возникнуть?” — должен ты спросить, и еще должен ты спросить: “Что, собственно, заставляет меня повиноваться ему?” Ты можешь подчиняться его приказу, как бравый солдат, внемлющий приказу своего офицера. Или как женщина, любящая того, кто повелевает. Или как лстец и трус, боящийся повелевающего. Или как глупец, который повинует, ибо ему нечего сказать против. Короче, на сотню ладов можешь ты внимать своей совести. Но то, что ты выслушиваешь то или иное суждение, как голос совести, — стало быть, ощущаешь нечто, как правильное, — может иметь свою причину в том, что ты никогда не размышлял о самом себе и слепо принимал то, что с детских лет внушалось тебе как правильное; или в том, что твой хлеб насущный и положение до сих пор зависели от того, что ты называешь своим долгом, — ты считаешь это “правильным”, так как это представляется тебе твоим “условием существования” (а то, что ты имеешь право на существование, кажется тебе неопровержимым!). Твердость твоего морального суждения могла бы все еще служить доказательством как раз личного убожества, безличности; твоя “моральная сила” могла бы корениться в твоём упрямстве — или в твоей неспособности лицедреть новые идеалы! И, короче говоря, если бы ты тоньше мыслил, лучше наблюдал и больше учился, ты бы ни при каких обстоятельствах не называл больше долгом и совестью этот твой “долг” и эту твою “совесть”: осознание того, как вообще и когда-либо возникли моральные суждения, отбило бы у тебя охоту к этим патетическим словам, — подобно тому как у тебя уже была отбита охота у другим патетическим словам, типа “грех”, “спасение души”, “искупление”. И не говори мне впредь о категорическом императиве, друг мой! — это слово щекочет мне ухо, и я вынужден смеяться, несмотря на твое столь серьезное присутствие: я поминаю при этом старого Канта, который в наказание за то, что он хитростью добился “вещи в себе” — тоже очень смешная вещь! — был добит “категорическим императивом” и с ним в сердце снова прибулдился, подобно лисе, забредшей обратно в свою клетку, к “Богу”, “душе”, “свободе” и

“бессмертию”; а клетка-то и была взломлена его силою и умом! — Как? Ты любишь категорическим императивом в себе самом? Этой “твердостью” твоего так называемого морального суждения? Этой “безусловностью” чувства: “все должны судить здесь так, как я”? Удивляйся, скорее, здесь своему себялюбию! и слепоте, ничтожности, невзыскательности твоего себялюбия! Себялюбие и есть это: ощущать свое суждение как всеобщий закон, — и притом слепое, ничтожное и невзыскательное себялюбие, ибо оно выдает, что ты еще не открыл самого себя, не сотворил еще себе собственного, собственнейшего идеала, который никогда не смог бы быть идеалом кого-нибудь другого, — молчу уж о всех, всех! — Кто судит еще: “так должен был бы в этом случае поступить каждый”, тот не продвинулся еще дальше пяти шагов в самопознании: иначе ведал бы он, что нет и быть не может одинаковых поступков, — что каждый свершенный поступок свершен вполне единственным и неповторимым образом и что с каждым будущим поступком будет обстоять так, что все предписания к действию коснутся лишь грубой внешней его стороны (включая даже проникновеннейшие и утонченнейшие предписания всех прежних моралей), — что с ними, пожалуй, можно будет достичь иллюзии равенства, но именно лишь иллюзии, — что любой поступок, если взглянуть или оглянуться на него, есть и продолжает оставаться непроницаемой вещью, — что наши мнения о “добром”, “благородном”, “великом” никогда не могут быть доказаны нашими поступками, ибо каждый поступок непознаваем, — что, хотя наши мнения, оценки и заповеди наверняка принадлежат к мощнейшим рычагам в шестеренчатом механизме наших поступков, все равно закон их механики недоказуем для каждого отдельного случая. Итак, ограничимся очищением наших мнений и оценок и созиданием новых собственных скрижалей — и не будем больше корпеть над “моральной ценностью наших поступков”! Да, друзья мои! Пробил час отвращения ко всей моральной болтовне одних в адрес других! Моральное судопроизводство должно быть оскорблением нашему вкусу! Предоставим эту болтовню и этот дурной вкус тем, кому нечего больше и делать, как волочить прошлое пядь за пядью сквозь времена, и кто сам никогда не есть настоящее, — многим, стало быть, очень многим! Мы же хотим стать тем, что мы есть, — новыми, неповторимыми, несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самых-творящими! И для этого должны мы стать лучшими выучениками и открывателями всего законного и необходимого в мире: мы должны быть физиками, чтобы смочь быть творцами в названном смысле, — между тем как до сих пор все оценки и идеалы зиждились на незнании физики либо в противоречии с нею. И посему: да здравствует физика! А еще больше то, что принуждает нас к ней, — наша честность!

336

Скупость природы.

Отчего природа оказалась столь скардной по отношению к человеку, что не дала ему светиться, одному больше, другому меньше, в зависимости от внутренней полноты света у каждого? Отчего великие люди не выглядят столь же прекрасно в своем восходе и закате, как солнце? Насколько более недвусмысленной была бы тогда жизнь среди людей!

337

Будущая “человечность”.

Когда я всматриваюсь в эту эпоху глазами какой-нибудь отдаленной эпохи, мне не удастся найти в современном человеке ничего более примечательного, чем его своеобразная добродетель и болезнь, называемая “историческое чувство”. Это — начатки чего-то совершенно нового и неизвестного в истории: если бы предоставили этому ростку несколько столетий и больше, то из него в конце концов могло бы выйти дивное растение с таким дивным запахом, ради которого обитать на нашей старой Земле было бы приятнее, чем прежде. Мы, нынешние люди, и начинаем позвенно создавать цепь будущего весьма могущественного чувства — едва ли и сами мы знаем, что мы делаем. Нам почти кажется, что дело идет не о новом чувстве, а об ампутации всех старых чувств, — историческое чувство есть еще нечто столь бедное и холодное, что многие пронизываются им, как ознобом, и становятся от него более бедными и более озябшими. Другим оно кажется признаком подкрадывающейся старости, и наша планета предстает им точно некий унылый больной, который, силясь забыть свое настоящее, записывает себе на память историю своей юности. На деле такова одна грань этого нового чувства: кто способен чувствовать всю историю людей, как собственную историю, тот воспринимает в некоем чудовищном обобщении всю тоску больного, думающего о здоровье, старика, вспоминающего грезы юности, любящего, разлученного с любимой, мученика, теряющего свой идеал, героя вечером после битвы, которая ничего не решила и все же нанесла ему ранения и утрату друга, — но нести в себе эту чудовищную сумму всяческой тоски, мочь нести ее, и при всем том быть еще героем, который с наступлением второго дня битвы приветствует утреннюю зарю и свое счастье, как человек, вмещающий горизонт тысячелетий до и после себя, как наследник всей преимущественности былого духа, и наследник, взявший на себя обязательства, как наиболее знатный из всех старых дворян и в то же время первенец нового дворянства, которое и не снилось всем прежним эпохам: все это принять в душу, древнейшее, новейшее, потери, надежды, завоевания, победы человечества; все это, наконец, нести в одной душе и вместить в одном чувстве — это должно было бы повлечь за собой такое счастье, которого

до сих пор не ведал еще человек, — божественное счастье, исполненное силы и любви, полное слез и полное смеха, счастье, которое, словно вечернее солнце, постоянно сорит неисчерпаемыми богатствами и ссыпает их в море и, словно это солнце, лишь тогда чувствует себя богаче всех, когда и беднейший рыбак правит еще золотым веслом! Это божественное чувство да наречется тогда — человечность!

338

Воля к страданию и сострадательные.

Выгодно ли вам самим быть, прежде всего, сострадательными людьми? И выгодно ли страждущим это ваше сострадание? Но оставим на мгновение первый вопрос без ответа. — То, чем мы глубже всего и сокровеннее всего мучимся, непонятно и недоступно почти всем другим: в этом мы остаемся тайной и для самого близкого нам человека, хотя бы он и хлебал с нами из одной миски. Но всюду, где подмечают наше страдание, толкуют его весьма плоским образом; к сущности сострадательной аффекции принадлежит то, что она лишает чужое страдание собственно личного характера — наши “благодетели” в большей мере, чем наши враги, суть умалители нашего достоинства и воли. В большинстве благодеяний, оказываемых несчастным, чем-то возмутительным выглядит то интеллектуальное легкомыслие, с которым страдающий корчит из себя судьбу; ему не известно ровным счетом ничего о внутренних последствиях и переплетах, которые и называются моим илитвоим несчастьем! Общая экономия моей души и ее балансирование путем “несчастья”, прорыв новых источников и потребностей, затягивание старых ран, расплата со всем прошлым — все то, что может быть связано с несчастьем, нисколько не заботит славного сострадальца: он хочет помочь, и ему не приходит в голову, что существует личная необходимость несчастья, что ужасы, лишения, бедствования, полунощные бдения, приключения, риск, промахи столь же необходимы нам с тобой, как и их противоположности, что даже, мистически выражаясь, тропа, ведущая к собственному небу, всегда проходит через сладострастия собственного ада. Нет, об этом он не знает ничего: “религия сострадания” (или “сердце”) велит помогать, и думают, что лучше всего помогается тогда лишь, когда помогается скорее всего! Если вы, приверженцы этой религии, действительно питаете к самим себе те же чувства, которые вы питаете к ближним, если вы не хотите вынести и часа собственных страданий и вечно уже загодя уклоняетесь от всяческих несчастий, если вы воспринимаете страдание и неудовольствие как что-то злое, ненавистное, достойное уничтожения, как позорное пятно на существовании, — что ж, в таком случае в сердце вашем, кроме религии сострадания, есть еще и другая религия, и эта-то последняя и является, возможно, матерью первой: религия удобства. Ах, как мало знаете вы о счастье человека, вы, покладистые и добродушные! ибо счастье и несчастье — братья-близнецы, которые растут вместе или, как у вас, вместе — остаются недорослями! Но теперь вернемся к первому вопросу. — Как же это возможно — оставаться на своем пути! Нас вечно зазывает в сторону чей-то крик; редко видит глаз наш нечто такое, когда не следовало бы мгновенно оставить собственное дело и ринуться на подмогу. Я знаю это: есть сотни пристойных и похвальных способов сбить меня с моего пути, воистину в высшей степени “моральных” способов! Ну да, взгляды нынешних проповедников морали сострадания доходят даже до того, что именно это, и лишь одно это, считается моральным: сбиться таким образом со своего пути и поспешить на помощь к ближнему. Я знаю столь же явно и другое: стоит лишь мне отдаться созерцанию действительной нужды, как я погиб! И если бы страждущий друг сказал мне: “Смотри, я скоро умру: обещаю же мне умереть вместе со мною” — я обещал бы это, равным образом как и вид того борющегося за свою свободу горного народца побудил бы меня протянуть ему мою руку и мою жизнь: дабы однажды выбрать из хороших побуждений дурные примеры. Да, даже во всем этом пробуждающем сострадание и вызывающем к помощи кроется тайный соблазн: как раз наш “собственный путь” и есть слишком суровое и ответственное дело, а главное, слишком далекое от любви и благодарности других, — мы отнюдь не без охоты покидаем его, его и собственнейшую нашу совесть, ютясь под совестью других и в славном храме “религии сострадания”. Стоит лишь теперь разразиться какой-нибудь войне, как тотчас же в сердцах благороднейших представителей народа разражается, конечно, затаившаяся радость: они с ликованием бросаются навстречу новой смертельной опасности, ибо в самопожертвовании за отечество рассчитывают получить наконец это долго искомое позволение — позволение ускользнуть от своей цели: война для них есть окольный путь к самоубийству, но окольный путь с чистой совестью. И дабы промолчать здесь кое о чем, я не хочу промолчать о моей морали, которая говорит мне: “Живи скрытно, чтобы тебе удалось жить по себе! Живи в неведении того, что кажется твоему времени наиболее важным! Проложи между собою и сегодняшним днем, по крайней мере, шкуру трех столетий! И крики сегодняшнего дня, шум войн и революций да будут тебе журчанием! Ты захочешь также помогать: но только тем, нужду которых ты полностью понимаешь, ибо у них одна с тобою скорбь и одна надежда, — твоим друзьям; и лишь таким способом, каким ты помогаешь сам себе, — я хочу придать им больше мужества, больше стойкости, больше простоты, больше веселья! Я хочу научить их тому, что нынче понимают столь немногие, а те проповедники сострадания и того меньше, — сорадости!”

339

Vita femina.

Увидеть последнюю красоту какого-либо творения — для этого недостаточно всего знания и всей доброй воли; нужны редчайшие счастливые случайности, дабы однажды отхлынул для нас облачный покров с вершин и они залились бы солнцем. Не только должны мы стоять на правильном месте, чтобы видеть это: сама душа наша должна совлечь покров со своих высот и взыскать внешнего выражения и подобия, словно бы получая от этого устойчивость и самообладание. Поскольку, однако, все это столь редко сходится вместе, я склонен думать, что высочайшие выси всего благого, будь то творение, деяние, человек, природа, пребывали до сих пор для большинства людей и даже для лучших чем-то таинственным и сокрытым: а то, что обнаруживается нам, обнаруживается над однажды! — Греки хорошо молились: “Да удвоится и утроится все прекрасное!” — ах, у них было достаточное основание взывать к богам, ибо небожественная действительность либо вовсе не дает нам прекрасного, либо дает его однажды! Я хочу сказать, что мир преисполнен прекрасных вещей, но, несмотря на это, беден, очень беден прекрасными мгновениями и обнаружениями этих вещей. Но, может статься, это-то и есть сильнейшее очарование жизни: на ней лежит златотканый покров прекрасных возможностей, обещая, сопротивляясь, стыдливо, насмешливо, сострадательно, соблазнительно. Да, жизнь — это женщина!

340

Умирающий Сократ.

Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всем, что он делал, говорил — и не говорил. Этот насмешливый и влюбленный афинский урод и крысолов, заставлявший трепетать и заливаться слезами заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании. Я хотел бы, чтобы он и в последнее мгновение жизни был молчаливым, — возможно, он принадлежал бы тогда к еще более высокому порядку умов. Было ли то смертью или ядом, благочестием или злобой — что-то такое развязало ему в это мгновение язык, и он сказал: “О, Критон, я должен Асклепию петуха”. Это смешное и страшное “последнее слово” значит для имеющего уши: “О, Критон, жизнь — это болезнь!” Возможно ли! Такой человек, как он, проживший неким солдатом весело и на глазах у всех, — был пессимист! Он только сделал жизни хорошую мину и всю жизнь скрывал свое последнее суждение, свое сокровеннейшее чувство! Сократ, Сократ страдал от жизни! И он отомстил еще ей за это — тем таинственным, ужасным, благочестивым и кошунственным словом! Должен ли был Сократ мстить за себя? Недоставало ли его бьющей через край добродетели какого-то грана великодушия? — Ах, друзья! Мы должны превзойти и греков!

341

Величайшая тяжесть.

Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твоё уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: “Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же последовательности, — также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!” — Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему: “Ты — бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!” Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: “хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?” — величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью?

342

Incipit tragoedia.

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро Урми и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но наконец изменилось сердце его — и однажды утром поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему: “Ты, великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! Десять лет восходило ты сюда к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи; но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя избыток твой и благословляли тебя за это. Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне; я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься

вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило! — я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, к которым хочу я спуститься. Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье! Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады! Взгляни! Эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком”. — Так начался закат Заратустры.

ПЯТАЯ КНИГАМЫ, БЕССТРАШНЫЕ

Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien
Davantage, si tu savais, ou je te mene.
Turenne

343

Какой толк в нашей веселости.

Величайшее из новых событий — что “Бог умер” и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи глаза и подозрение в глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища, кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир должен выглядеть для них все более закатывающимся. Более подозрительным, более чуждым, “более дряхлым”. Но в главном можно сказать: само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно было считать уже дошедшими, — не говоря о том, сколь немногие ведают еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль. Предстоит длительное изобилие и череда обвалов, разрушений, погибелей, крахов: кто бы нынче угадал все это настолько, чтобы рискнуть войти в роль учителя и глашатая этой чудовищной логики ужаса, пророка помрачения и солнечного затмения, равных которым, по-видимому, не было еще на земле?.. Даже мы, прирожденные отгадчики загадок, мы, словно бы выжидающие на горах, защемленные между сегодня и завтра и впрягшиеся в противоречие между сегодня и завтра, мы, первенцы и недоноски наступающего столетия, на лица которых должны были бы уже пасть тени из ближайшего затмения Европы: отчего же происходит, что даже мы, без прямого участия в этом помрачении, прежде всего без всякой заботы и опасения за самих себя, ждем его восхождения? Быть может, мы еще стоим слишком под ближайшими последствиями этого события — и эти ближайшие последствия, его последствия, вовсе не кажутся нам, вопреки, должно быть, всяким ожиданиям, печальными и мрачными, скорее, как бы неким трудно описуемым родом света, счастья, облегчения, просветления, воодушевления, утренней зари... В самом деле, мы, философы и “свободные умы”, чувствуем себя при вести о том, что “старый Бог умер”, как бы осиянными новой утренней зарею; наше сердце преисполняется при этом благодарности, удивления, предчувствия, ожидания, — наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и затуманен; наконец, наши корабли снова могут пуститься в плавание, готовые ко всякой опасности; снова дозволен всякий риск познающего; море, наше море снова лежит перед нами открытым; быть может, никогда еще не было столь “открытого моря”.

344

В какой мере и мы еще набожны.

В науке убеждения не имеют никакого права гражданства, так — и вполне основательно — принято говорить: лишь когда эти убеждения решаются снизить до скромного уровня гипотезы, временной рабочей точки зрения, регулятивной фикции, им разрешается доступ в область познания и даже право на определенное достоинство в ней — при условии постоянного пребывания под полицейским присмотром, под надзором полиции недоверия. — Но в более точном разгляде не означает ли это: лишь когда убеждение перестает быть убеждением, оно вправе притязать на вход в науку? Разве дисциплина научного ума не начинается с того, что не позволяешь себе больше никаких убеждений?.. Так оно, по-видимому, и есть: остается лишь спросить, не должно ли уже наличествовать некое убеждение, чтобы эта дисциплина могла вообще начаться, а именно убеждение, столь властное и безусловное, что приносящее себе в жертву все прочие убеждения. Очевидно, сама наука покоится на вере; не существует никакой “беспредпосылочной” науки. Вопрос, нужна ли истина, должен быть не только заведомо решен в утвердительном смысле, но и утвержден в такой степени, чтобы в нем нашли свое выражение тезис, вера, убеждение; “нет ничего более необходимого, чем истина, и в сравнении с нею все прочее имеет лишь второстепенное значение”. — Эта безусловная воля к истине: что она такое? Есть ли это воля не давать себя обманывать? Есть ли это воля самому не обманывать? Как раз на этот последний лад и могла бы толковаться воля к истине: предположив, что обобщение “я не хочу обманывать” включает в себя и частный случай: “я не хочу обманывать себя”. Но отчего не обманывать? Но отчего не давать обманывать себя? — Заметьте, что

доводы в пользу первого суждения лежат в совершенно иной области, чем доводы в пользу второго: не хотят обманываться, предполагая, что быть обманутым вредно, опасно, губительно; в этом смысле наука была бы дотошной смывшенностью, осторожностью, пользой, против которой, впрочем, можно было бы по праву возразить: как? действительно ли не-хотеть-давать-себя-обманывать менее вредно, менее опасно, менее губительно? Что знаете вы загодя о характере бытия, чтобы быть в состоянии решать, где больше выгоды: в безусловно ли недоверчивом или в безусловно доверчивом? А в случае, если необходимо и то и другое, большое доверие и большое недоверие, — откуда могла бы наука почерпнуть свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина важнее всякой другой вещи, даже всякого другого убеждения? Этого-то убеждения и не могло возникнуть там, где истина и неистина постоянно обнаруживают свою полезность, как это и имеет место в данном случае. Стало быть, вера в науку, представляющая нынче неоспоримой, не могла произойти из такой калькуляции выгод — скорее вопреки ей, поскольку вере этой постоянно сопутствовали бесполезность и опасность “воли к истине”, “истине любой ценой”. “Любой ценой”: о, мы понимаем это достаточно хорошо, после того как нам довелось принести на сей алтарь и закласть на нем все веры, одну за другой! — Следовательно, “воля к истине” означает: не “я не хочу давать себя обманывать”, а — безальтернативно — “я не хочу обманывать, даже самого себя”: и вот мы оказываемся тем самым на почве морали. “Почему ты не хочешь обманывать?”, в особенности если видимость такова — а видимость как раз такова! — что жизнь основана на видимости, я разумею — на заблуждении, обмане, притворстве, ослеплении, самоослеплении, и что, с другой стороны, фактически большой канон жизни всегда по большому счету обнаруживался на стороне. Такое намерение, пожалуй, могло бы быть, мягко говоря, неким донкихотством, маленьким мечтательным сумасбродством; но оно могло бы быть и чем-то более скверным, именно, враждебным жизни, разрушительным принципом... “Воля к истине” — это могло бы быть скрытой волей к смерти. — Таким образом, вопрос, зачем наука, сводится к моральной проблеме: к чему вообще мораль, если жизнь, природа, история “неморальны”? Нет никакого сомнения, что правдивый человек, в том отважном и последнем смысле слова, каким предполагает его вера в науку, утверждает тем самым некий иной мир, нежели мир жизни, природы и истории; и коль скоро он утверждает этот “иной мир” — как? не должен ли он как раз тем самым отрицать его антипод, этот мир — наш мир?... Теперь уже поймут, на что я намекаю: именно, что наша вера в науку покоится все еще на метафизической вере, — что даже мы, познающие нынче, мы, безбожники и антиметафизики, берем наш огонь все еще из того пожара, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою Платона, — вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна... А что, если именно это становится все более и более сомнительным, если ничто уже не оказывается божественным, разве что заблуждением, слепотою, ложью, — если сам Бог оказывается продолжительнейшей нашей ложью?

345

Мораль как проблема.

Дефицит личности мстит за себя повсюду; расслабленная, невзрачная, потухшая, отрекающаяся от самой себя и отрицающая себя личность не годится уже ни на что хорошее —О меньше всего на философию... “Самоотверженность” ни во что не ставится на небе и на земле; все великие проблемы требуют великой любви, а на нее способны только сильные, цельные, надежные умы, плот но прилегающие к самим себе. Крайне существенная разница, относится ли мыслитель к своим проблемам лично, видя в них свою судьбу, свою нужду и даже свое величайшее счастье, или “безлично”: именно, умея лишь ощущать их и схватывать щупальцами холодной, любопытной мысли. В последнем случае ничего не выходит, это уже можно обещать наверняка: ибо великие проблемы, если даже допустить, что они дают себя схватывать, не дают себя удерживать лягушкам и мямям, таков уж их вкус от вечности, — вкус, который, впрочем, они разделяют со всеми добросовестными самками. — Как же случилось, что я еще не встречал, даже в книгах, никого, кто относился бы к морали с такой личной установкой, кто признавал бы мораль проблемой, а эту проблему своей личной нуждой, мукой, сладострастием, страстью? Явное дело, мораль до сих пор вовсе не была проблемой; скорее всего чем-то, в чем находили общий язык после всяческих подозрений, раздоров, противоречий, — священным местом мира, где мыслители отдыхали, облегченно вздыхали, оживали даже от самих себя. Я не вижу никого, кто отважился бы на критику моральных ценностных суждений; от меня ускользают здесь даже попытки научного любопытства, избалованного обольстительного воображения, присущего психологам и историкам, которое с легкостью предупреждает проблему и схватывает ее на лету, не зная даже толком, что тут схвачено. Мне едва удалось изыскать некоторые скудные наметки к созданию истории возникновения этих чувств и оценок (что, впрочем, есть нечто иное, чем их критика, и уж совсем иное, чем история этических систем): в одном отдельном случае я приложил все усилия, чтобы возбудить склонность и способность к такого рода истории, — тщетно, как мне кажется теперь. От этих историков морали (в особенности англичан) мало толку: обыкновенно они и сами все еще простоудушно подчиняются некоторой морали и составляют, сами того не зная, ее свиту и щитоносцев; таково разделяемое ими народное суеверие, и поныне столь чистосердечно оговариваемое христианской Европой, будто характерная черта морального поступка заключается в самоотверженности, самоотрицании, самопожертвовании или в сочувствии, сострадании. Их расхожая ошибка произвольного основания сводится к

тому, что они утверждают какой-то consensus народов, по крайней мере прирученных народов, относительно известных положений морали и выводят отсюда ее безусловную обязательность, даже для нас с тобой, или, напротив, открыв истину, что у различных народов моральные оценки по необходимости различны, они заключают о необязательности всякой морали: и то и другое — большое ребячество. Ошибка более утонченных среди них заключается в том, что они обнаруживают и критикуют глупые, быть может, мнения какого-либо народа о своей морали или людей о всякой вообще человеческой морали, стало быть, о ее происхождении, религиозной санкции, суеверии свободной воли и т. п., и воображают тем самым, что раскритиковали саму мораль. Но значимость предписания “ты должен” существенно иная и несколько не зависит от всяческих мнений о ней и от сорняка заблуждений, которым она, должно быть, поросла: это столь же несомненно, как и то, что ценность какого-либо медикамента для больного совершенно независима от того, думает ли больной о медицине научно или как старая дева. Мораль могла бы вырасти даже из заблуждения: но и этим осознанием проблема ее ценности вовсе не была бы затронута. — Итак, никто до сих пор не апробировал еще ценности того прославленного из всех лекарств, которое называется моралью: для этого нужно первым делом — поставить эту ценность под вопрос. Ну что ж! Это как раз и есть наше дело.

346

Наш вопросительный знак.

Но вы не понимаете этого? В самом деле, нужно приложить усилия, чтобы понять нас. Мы ищем слов, возможно, мы ищем и ушей. Кто же мы такие? Если бы нам вздумалось назвать себя просто старым выражением “безбожники”, или “неверующие”, или же “иммoralисты”, мы далеко бы еще не считали себя названными: мы — все это вместе в слишком поздней стадии, слишком поздней, чтобы было понятно, чтобы вы смогли понять, господа зеваки, каково у нас на душе. Нет! Мы уже свободны от горечи и страсти вырвавшегося на волю, который рассчитывает сделать себе из своего неверия еще одну веру, цель, даже мученичество! Мы ошпарены кипятком познания и до очерствелости охлаждены познанием того, что в мире ничто не свершается божественным путем, ни даже по человеческой мере — разумно, милосердно или справедливо: нам известно, что мир, в котором мы живем, небожествен, неморален, “бесчеловечен”, — мы слишком долго толковали его себе ложно и лживо, в угоду нашему почитанию и, значит, в угоду некоей потребности. Ибо человек — почитающее животное! Но он и недоверчивое животное: и то, что мир не стоит того, во что мы верили, оказывается едва ли не самым надежным завоеванием нашей недоверчивости. Сколько недоверчивости, столько и философии. Мы, пожалуй, остерегаемся сказать, что он стоит меньшего: нам теперь кажется даже смешным, когда человек пытается изобретать ценности, превосходящие ценность действительного мира, — от этого-то мы и отступились, как от распутного блуждания человеческого тщеславия и неразумия, которое долго не признавалось за таковое. Свое последнее выражение оно нашло в современном пессимизме, а более старое, более сильное — в учении Будды; также и христианство содержит его, конечно в более сомнительном и двусмысленном виде, но оттого ничуть не менее соблазнительном. Вся установка “человек против мира”, человек, как “мироотрицающий” принцип, человек, как мера стоимости вещей, как судья мира, который в конце концов кладет на свои весы само бытие и находит его чересчур легким, — чудовищная безвкусица этой установки, как таковая, осознана нами и опротивела нам: мы смеемся уже, когда находим друг подле друга слова “человек и мир”, разделенные сублимированной наглостью словечка “и”! Но как? Не продвинулись ли мы, именно как смеющиеся, лишь на шаг дальше в презрении к человеку? И, стало быть, и в пессимизме, в презрении к постижимому нами бытию? Не впали ли мы тем самым в подозрение относительно противоположности между миром, в котором мы до сих пор обитали с нашими почитаниями, — ради которого мы, возможно, и выносили жизнь, — и другим миром, который есть мы сами: беспощадное, основательное, из самых низов идущее подозрение относительно нас самих, которое все больше, все хуже овладевает нами, европейцами, и с легкостью могло бы поставить грядущие поколения перед страшным или — или: “отбросьте или свои почитания, или — самих себя!” Последнее было бы нигилизмом; но не было ли и первое — нигилизмом? — Вот наш вопросительный знак.

347

Верующие и их потребность в вере.

Насколько некто нуждается в вере, чтобы преуспевать, в какой мере ему необходимо иметь нечто “прочное”, что он не хотел бы расшатать, так как держится за него, — это и является показателем его силы (или, говоря яснее, его слабости). Еще и сегодня, как нам кажется, большинство обитателей старой Европы нуждается в христианстве: оттого оно все еще находит веру. Ибо таков уж человек: можно было бы тысячекратно опровергнуть перед ним любой догмат веры, — но если бы он нуждался в нем, он все снова и снова считал бы его “истинным” — согласно тому знаменитому “доказательству силы”, о котором говорит Библия. В метафизике нуждаются еще некоторые; но и то буйное желание достоверности, которое нынче на научно-позитивистский лад разряжается в широких массах, желание знать что-либо наверняка (причем, вследствие горячности желания, смотрят на это с легкостью и сквозь пальцы, как на гарантию самой прочности) — и оно оказывается все еще

поиском поддержки, опоры, короче, тем инстинктом слабости, который если и не создает, то консервирует религии, метафизики, убеждения всякого рода. В действительности над всеми этими позитивистскими системами чадит дым известного пессимистического помрачения, какая-то усталость, фатализм, разочарование, страх перед новым разочарованием — или выставляемая напоказ злоба, дурное настроение, анархизм негодования и всякого рода симптомы или маскарады расслабленности. Даже та запальчивость, с которой наши смышленнейшие современники забиваются в жалкие углы и щели, например в патриотщину (так именую я то, что во Франции называют *chauvinisme*, а в Германии *deutsch*), или в эстетические подпольные исповедания по типу парижского *naturalisme* (извлекающего из природы и оголяющего только ту часть, которая одновременно вызывает чувство гадливости и удивления, — эту часть нынче охотно именуют *la verite vraie*), или в нигилизм петербургского образца (т. е. в веру в неверие, вплоть до мученичества за нее), — даже эта запальчивость свидетельствует прежде всего о потребности в вере, в поддержке, в хребте, в опоре... Вера всегда больше всего жаждется, упорнее всего взыскуется там, где недостает воли: ибо воля, как аффект повеления, и есть решительный признак самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет некто повелевать, тем назойливее влечется он к тому, кто повелевает, и повелевает строго, — к Богу, монарху, званию, врачу, духовнику, догме, партийной совести. Из чего, пожалуй, следовало бы вывести, что причина возникновения и внезапное распространение обеих мировых религий, буддизма и христианства, заключались главным образом в чудовищном заболевании воли. И так оно и было на самом деле: обе религии обнаружили некое влекомое больной волею в абсурд, доходящее до отчаяния стремление к “ты должен”, обе религии были учителями фанатизма в периоды расслабления воли и обернулись для неисчислимого множества людей взысканием опоры, новой возможности, смакованием самого взыскания. Фанатизм и есть та самая единственная “сила воли”, к которой могут быть приведены слабые и неуверенные, некоего рода гипнотизирование всей чувственно-интеллектуальной системы в угоду избыточному питанию (гипертрофии) одной-единственной точки зрения и чувства, которая отныне начинает доминировать, — христианин называет ее своей верой. Всюду, где человек приходит к основополагающему убеждению, что им должны повелевать, он становится “верующим”; можно было бы, напротив, вообразить себе некую радость и силу самоопределения, некую свободу воли, при которой ум расстается со всякой верой, со всяким желанием достоверности, полагаясь на свою выучку и умение держаться на тонких канатах и возможностях и даже танцевать еще над пропастями. Такой ум был бы свободным умом *par excellence*.

348

О происхождении ученых.

Ученый вырастает в Европе из всякого рода сословий и в условиях общества, словно некое растение, не нуждающееся ни в какой специфической почве; оттого, по сути дела и произвольно, он принадлежит к носителям демократической идеи. Но это происхождение выдает себя. Если обладаешь несколько обостренным зрением, чтобы уличать и накрывать с поличным в ученой книге, в научном трактате интеллектуальную идиосинкразию ученого — каждый ученый имеет таковую, — то почти всегда обнаружишь за нею “предысторию” ученого, его семью, особенно же семейные занятия и профессиональные уклоны. Где чувство выражается в словах: “теперь это доказано, теперь я с этим покончил”, там по обыкновению в крови и инстинктах ученого присутствует предок, который и одобряет со своей точки зрения “проделанную работу”, — вера в доказательство есть только симптом того, что в каком-либо трудолюбивом роду исстари рассматривалось как “хорошая работа”. Пример: сыновья регистраторов и канцелярских писарей всякого рода, главная задача которых всегда состояла в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, распределять его по ящикам, вообще схематизировать, в случае если они делаются учеными, обнаруживают предрасположенность к тому, чтобы считать какую-нибудь проблему почти решенной, раз им удалось ее схематизировать. Есть философы, которые, по существу, суть только схематические головы — у них формальный навык отцовского ремесла стал внутренним содержанием. Талант к классификациям, к таблицам категорий выдает кое-что; нельзя безнаказанно быть чадом своих родителей. Сын адвоката должен будет и в качестве исследователя быть адвокатом: он старается в первом заходе оказаться правым (*recht behalten*), а во втором, пожалуй, быть правым (*recht haben*). Сыновей протестантских священников и школьных учителей узнают по наивной уверенности, с которою они, будучи учеными, считают свое дело уже доказанным, если только оно изложено ими от сердца и с теплотою: они основательно привыкли к тому, что им верят, — у их отцов это было “ремеслом”! Еврей, напротив, сообразно кругу занятий и прошлому своего народа как раз меньше всего привык к тому, чтобы ему верили: взгляните с этой точки зрения на еврейских ученых — они все возлагают большие надежды на логику, стало быть, на принуждение к согласию посредством доводов; они знают, что с нею они должны победить даже там, где против них налицо расовая и классовая ненависть, где им неохотно верят. Ведь нет ничего демократичнее логики: для нее все на одно лицо, и даже кривые носы она принимает за прямые. (Говоря между делом: Европа обязана не малой благодарностью евреям как раз по части логизирования и более чистоплотных привычек головы; прежде всего немцы, эта прискорбно *deraisonnable* раса, которой и сегодня все еще не мешало бы “задать головомойку”). Повсюду, где евреям довелось оказать влияние, они научили тоньше различать, острее

делать выводы, яснее и аккуратнее писать: их задачей всегда было привести народ “к *raison*”).

349

Еще раз происхождение ученых.

Хотеть сохранить самого себя есть выражение бедственного состояния, некоего ограничения основного импульса собственной жизни, восходящего к расширению власти и в этом волеии довольно часто подвергающего сомнению чувство самосохранения и жертвующего им. Пусть сочтут это за симптом, когда отдельные философы, как, например, чахоточный Спиноза, усматривали, должны были усматривать решающее значение именно в так называемом импульсе самосохранения: это были люди, находившиеся как раз в бедственном состоянии. Что наше современное естествознание столь основательно спуталось со спинозовской догмой (вконец и грубее всего в дарвинизме с его непостижимо односторонним учением о “борьбе за существование”) — это коренится, по-видимому, в происхождении большинства естествоиспытателей: они принадлежат в этом отношении к “народу”, их предки были бедными и незначительными людьми, которые слишком хорошо и сблизи знали тяготы хлеба насущного. От всего английского дарвинизма отдает как бы удушливой атмосферой английского перенаселения, как бы мелколюдным запахом нужды и тесноты... Но в качестве естествоиспытателя нужно было выйти из своего человеческого закутка — а в природе царит не бедственное состояние, но изобилие, расточительность, доходящая даже до абсурда. Борьба за существование есть лишь исключение, временное ограничение воли к жизни; великая и малая борьба идет всегда за перевес, за рост и распределение, за власть, сообразно воле к власти, которая и есть как раз воля к жизни.

350

К чести *homines religiosi*.

Вполне очевидно, что борьба против церкви является между прочим — ибо она означает многое — и борьбой более пошлых, довольных, доверчивых, поверхностных натур против господства более сложных, более глубоких, более созерцательных, стало быть, против более злых и подозрительных людей, которые сочетали длительное подозрение относительно ценности существования с размышлениями о собственной своей ценности: общий инстинкт народа, его чувственная веселость, его “доброе сердце” восстали против них. Вся римская церковь покоится на южном недоверии к при роде человека, которое Севером искони понималось фальшиво: с таким недоверием получил европейский Юг наследство глубокого Востока, доисторической, таинственной Азии и ее контемплаций. Уже протестантизм есть народный бунт в пользу простодушных, чистосердечных, поверхностных натур (Север всегда был более добродушным и более плоским, чем Юг); но только французская революция окончательно и торжественно вложила скипетр в руки “доброго человека” (овцы. Осли, гуся и всего, что неизлечимо плоско и визгливо созрело для сумасшедшего дома “современных идей”).

351

К чести священнических натур.

Я думаю, что от того, что разумеет под мудростью народ (а кто нынче не “народ”?), — от той умной коровьей безмятежности, той набожности и пасторской кротости, которая лежит на лугу и серьезно и жующе взирает на жизнь, — именно от этого философы чувствовали себя наиболее отстоящими, вероятно, потому, что были для этого недостаточно “народом”, недостаточно сельскими пасторами. И, конечно, они позже всех примирятся с мыслью, что народ мог бы понять кое-что из того, что как нельзя дальше отстоит от него, — великую страсть познающего, который постоянно живет, должен жить в грозном облаке высочайших проблем и тягчайших ответственностей (стало быть, отнюдь не созерцательно, извне, равнодушно, надежно, объективно...). Народ чтит совершенно иной сорт человека, когда со своей стороны составляет себе идеал “мудреца”, и тысячекратно в этом прав, осыпая лучшими словами и почестями как раз этого сорта людей: кроткие, серьезно-глуповатые и непорочные священнические натуры и все им родственные — им воздается хвала в народном благоговении перед мудростью. И кому же еще следовало бы народу быть более благодарным, как не этим людям, которые принадлежат к нему и из него выходят, но в качестве посвященных, избранных, принесенных в жертву ради его блага — сами они верят в то, что были принесены в жертву Богу, — перед которыми он может безнаказанно изливать свое сердце, с помощью которых может избавляться от своих тайн, своих забот и сквернот (ибо человек, который “доверяется”, освобождается от самого себя, а тот, кто “исповедался”, забывает). Здесь распоряжается великая нужда: и для душевных нечистот потребны сточные канавы и чистая, очистительная вода в них, потребны стремительные потоки любви и сильные, смиренные, чистые сердца, которые самоотверженно готовят себя к подобной службе необщественного попечения о здоровье, — ибо это есть жертва, священник есть и остается человеческой жертвой... Народ воспринимает таких принесенных в жертву, притихших, серьезных людей “веры” как мудрых, т. е. ставших знающими, как “надежных” в сравнении с собственной его ненадежностью: кто бы мог лишить его слова и этого благоговения? — Но — что справедливо и в обратном

порядке — среди философов также и священник считается еще “народом”, а не “знающим”. Прежде всего потому, что и сами они не верят в “знающих”, и уже от этой веры и этого суеверия на них самих несет “народом”. Скромность изобрела в Греции слово “философ” и уступила комедиантам ума роскошную спесь называть себя мудрыми — скромность таких страшилищ гордости и самообладания, как Пифагор, как Платон...

352

Насколько еще можно обойтись без морали.

Обнаженный человек вообще постыдное зрелище — я говорю о нас, европейцах (а никак не о европейках!). Допустим, что какое-то веселое общество за обеденным столом вдруг увидело бы себя раздетым догола коварной выходкой какого-нибудь волшебника; я полагаю, что исчезло бы не только веселье и самый сильный аппетит, — по-видимому, мы, европейцы, вовсе не можем обойтись без того маскарада, который называется одеждой. Не должно ли иметь столь же прочные основания и одеяние “моральных людей”, их закутывание в моральные формулы и правила приличия, вся благонамеренная подтасовка наших поступков под понятия “долг”, “добродетель”, “чувство солидарности”, “порядочность”, “самоотверженность”? Не то чтобы я думал, что здесь маскируется в нас какая-то человеческая злоба и низость, короче, скверный дикий зверь; напротив, моя мысль в том, что мы именно в качестве ручных зверей являем собою постыдное зрелище и нуждаемся в моральном одеянии, — что “внутренний мир человека” в Европе давно уже не в такой степени скверен, чтобы “выставляться напоказ” (чтобы тем самым быть прекрасным). — Европейец одевается в мораль, так как он стал больным, немощным, увечным зверем, имеющим все основания быть “ручным”, так как он — почти уродец, нечто недоделанное, слабое, неуклюжее... Не ужас, внушаемый хищным зверем, находит моральное одеяние необходимым, но стадное животное со своей глубокой посредственностью, боязнью и скукой от самого себя. Мораль наряжает европейца — сознаемся в этом! — во что-то более благородное, более значительное, более импозантное, в “божественное”...

353

О происхождении религий.

Действительное изобретение основателей религии сводится, во-первых, к тому, чтобы установить определенный образ жизни и нравственный обиход, действующий как *disciplina voluntatis* и в то же время отгоняющий скуку; во-вторых, дать интерпретацию этой жизни, благодаря которой она предстает в свете высшей ценности и становится отныне неким благом, за которое борются, а при случае и отдают жизнь. По правде, из этих двух изобретений второе более существенно: первое — образ жизни — обыкновенно уже имеется, но наряду с другими образами жизни и без какого-либо осознания присущей ему ценности. Значимость, оригинальность основателя религии обнаруживается, как правило, в том, что он видит этот образ жизни, избирает его, впервые угадывает, во что его можно употребить, как его можно интерпретировать. Иисус (или Павел), к примеру, столкнулся с жизнью простолюдя в римской провинции, скромной, добродетельной, угнетенной жизнью: он истолковал ее, он вложил в нее высший смысл и ценность — и тем самым мужество презирать всякий прочий образ жизни, — тихий гернгутерский фанатизм, тайную катакомбную самонадеянность, которая все росла и росла, покуда не ощутила себя готовой к тому, чтобы “победить мир” (т. е. Рим и более высокие сословия во всей Империи). Равным образом Будда столкнулся с тем типом людей, причем рассеянным по всем сословиям и общественным ступеням его народа, которые из косности были добрыми и благосклонными (прежде всего незлобивыми), которые все из той же косности жили воздержанной и почти непритязательной жизнью; он понял, с какой неизбежностью и *vis inertiae* должен был подобный тип людей вкатиться в веру, обещающую предотвратить возвращение земной юдоли (т. е. труда, делания вообще), — это “понимание” и было его гением. Для основателя религии характерна психологическая непогрешимость в знании определенного среднего типа душ, которые и сами не опознали еще своей принадлежности друг другу. Он и собирает их воедино; основание религии лишь постольку оказывается всегда долгим праздником опознавания.

354

О “гении рода”.

Проблема сознания (вернее, самосознания) лишь тогда встает перед нами, когда мы начинаем понимать, насколько мы могли бы обойтись без него: к этому началу понимания приводят нас теперь физиология и естественная история животных (той и другой, стало быть, понадобились два столетия, чтобы достигнуть опережающее подозрение Лейбница). Действительно, мы могли бы думать, чувствовать, хотеть, вспоминать, равным образом могли бы мы “действовать” во всяком смысле слова, и, однако, всему этому не было бы никакой нужды “включиться в наше сознание” (говоря образно). Жизнь была бы вполне возможна и без того, чтобы видеть себя как бы в зеркале; впрочем, еще и теперь преобладающая часть этой жизни протекает в нас фактически без этого отражения, — и притом мыслящей, чувствующей, волящей жизни, сколь бы обидно ни звучало это для

какого-нибудь более старого философа. К чему вообще сознание, раз оно по существу излишне? — Что ж, мне кажется — если соизволят выслушать мой ответ на этот вопрос и заключающуюся в нем необузданную, возможно, догадку, — что утонченность и сила создания всегда находятся в прямой связи со способностью общения человека (или животного), а способность общения, в свою очередь, связана с потребностью в общении; при этом последнее понимается отнюдь не в том смысле, что отдельный человек, искусный в общении и разъяснении своих потребностей, непременно должен был бы больше всех обращаться со своими потребностями к другим людям. Но в отношении целый рас и цепи поколений дело, по-видимому, обстоит именно так. Там, где потребность, нужда долгое время принуждала людей к общению, к быстрому и тонкому взаимопониманию, там, в конечном счете, всегда наличествует избыток этой силы и искусства общения, словно бы некое состояние, которое постепенно накопилось и теперь ждет наследника, смогшего бы его промотать (так называемые художники суть эти наследники, равным образом ораторы, проповедники, писатели: люди, замыкающие долгую цепь, “запоздалые отпрыски” в лучшем значении слова и, как было сказано, моты по самому своему существу). Допустив, что это наблюдение верно, я вправе перейти к догадке, что сознание вообще развивалось только под давлением потребности в общении, — что оно с самого начала было необходимо и полезно лишь в отношениях между людьми (в особенности между повелевающим и повинующимся) и что само развитие его находилось в прямой зависимости от степени этой полезности. Сознание есть, по существу, лишь коммутатор между человеком и человеком — лишь в качестве такового должно было оно развиваться: отшельническим и хищным натурам оно было бы ни к чему. То, что наши поступки, мысли, чувства, движения сами вошли в сознание — по крайней мере, частично, — было следствием “нужды”, страшно долгое время господствовавшей над человеком: он нуждался, будучи рискованным животным, в помощи, защите, он нуждался в себе подобном, он должен был выражать свою нужду, уметь толком объясняться, — и для всего этого ему необходимо было прежде всего “сознавать”, стало быть “знать”, чего ему недостает, “знать”, каково у него на душе, “знать”, что он думает. Ибо, говоря снова: человек, как всякая живая тварь, постоянно мыслит, но не знает этого; осознаваемое мышление есть лишь самая малейшая часть всего процесса, скажем так: самая поверхностная, самая скверная часть, — ибо одно только это сознательное мышление и протекает в словах, т. е. в знаках общения, которыми и возмещается начало сознания. Короче говоря, развитие языка и развитие сознания (не разума, а только самоосознания разума) идут рука об руку. Следует добавить к этому, что не только язык служит мостом между одним человеком и другим, но и всякий вообще взгляд, нажим, жест; сознательность наших чувственных впечатлений в нас самих, сила, позволяющая фиксировать их и как бы помещать их вовне, возрастала пропорционально росту необходимости передавать их другим посредством знаков. Изобретающий знаки человек есть одновременно все более остро сознающий себя человек; лишь в качестве социального животного научился он сознавать себя — он и теперь делает еще это, он делает это все больше и больше. — Моя мысль, как видите, сводится к тому, что сознание, собственно, не принадлежит к индивидуальному существованию человека, скорее, оно принадлежит к тому, что есть в нем родового и стадного; оно, как и следует отсюда, достигает утонченного развития лишь в связи с родовой и стадной полезностью, и, стало быть, каждый из нас, при всем желании в максимальной степени понять себя индивидуально, “узнать самого себя”, всегда будет сознавать только неиндивидуальное в себе, свой “средний уровень”, — сама наша мысль своей сознательностью — повелевающим в ней “гением рода” — постоянно как бы набирает большинство голосов (majorisiert) и переводится обратно в стадные перспективы. Нет никакого сомнения, все наши поступки, в сущности, неповторимо личностны, уникальны, безгранично-индивидуальны; но стоит лишь нам перенести их в сознание, как они уже не выглядят таковыми... Это и есть доподлинный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю: природа животного сознания влечет за собою то, что мир, который мы в силах осознать, есть только мир поверхностей и знаков, обобщенный, опошленный мир, — что все осознаваемое уже тем самым делается плоским, мелким, относительно глупым, общим, знаком, стадным сигналом — что с каждым актом осознания связана большая и основательная порча, извращение, обмеление и обобщение. В конце концов растущее сознание есть опасность, и тот, кто живет среди наиболее сознательных европейцев, знает даже, что это болезнь. Вы догадываетесь, мне здесь нет никакого дела до противоположности между субъектом и объектом: это различие я предоставляю теоретикам познания, которые запутались в сетях грамматики (народной метафизики). Это вовсе и не противоположность между “вещью в себе” и явлением: ибо мы “познаем” далеко не столь основательно, чтобы быть вправе на такие деления. У нас ведь нет никакого органа для познания, для “истины”: мы “знаем” (или верим, или воображаем) ровно столько, сколько может быть полезно в интересах людского стада, рода, — и даже то, что называется здесь “полезностью”, есть в конце концов тоже лишь вера, лишь воображение и, возможно, как раз та самая роковая глупость, от которой мы однажды погибнем.

Происхождение нашего понятия “познание”.

Я беру это объяснение с улицы; я слышал, как кто-то из народа говорил: “Он меня опознал”, — я спросил себя при этом: что, собственно, понимает народ под познанием? Чего он хочет, когда он хочет “познания”? Ничего иного, кроме того, чтобы свести нечто чужое к чему-то знакомому. А мы, философы, — разве мы понимаем под

познанием нечто большее? Знакомое — значит: все, к чему мы привыкли, так что и не удивляемся больше этому, — наша повседневность, какое-нибудь правило, в котором мы застреваем, все и вся, в чем мы чувствуем себя как дома, — как? разве наша потребность в познании не есть именно эта потребность в знакомом? воля — среди всего чужого, непривычного, сомнительного обнаружить нечто такое, что не беспокоит нас больше? Не должно ли это быть источником страха — то, что велит нам познавать? Не должно ли ликование познающего быть ликованием как раз по случаю вновь обретенного чувства уверенности? Этот философ воображал, что он “познал” мир, когда свел его к “идее”: ах, разве это случилось не потому, что ему была так знакома, так привычна “идея”? что он так мало уже страшился “идеи”? — О, это довольство познающих! по нему пусть и судят об их принципах и решениях мировой загадки! Если они вновь найдут в вещах, под вещами, за вещами нечто такое, что нам, к сожалению, весьма знакомо, например нашу таблицу умножения, или нашу логику, или нашу волю и влечение, — радости их нет конца! Ибо “то, что опознано, — познано” — в этом они единодушны. Даже наиболее осторожные среди них полагают, что, по крайней мере, знакомое легче познать, чем чужое; к примеру, метьодически предписывается исходить из “внутреннего мира”, из “фактов сознания”, так как они представляют более знакомый нам мир! Заблуждение заблуждений! Знакомое есть привычное, а привычное труднее всего “познавать”, т. е. видеть в нем проблему, т. е. видеть его чужим, отдаленным, “вне нас самих”... Великая уверенность естественных наук по сравнению с психологией и критикой основ сознания — неестественными науками, как почти что можно было бы сказать, — покоится именно на том, что они берут чужое как объект: между тем желание принимать за объект вообще нечужое есть едва ли не полное противоречий и бессмысленное занятие...

356

В какой мере Европа будет делаться “более художественной”.

Еще и сегодня — в наше переходное время, когда столь многое перестает носить принудительный характер, — забота о жизни принуждает почти все мужское население Европы к некой определенной роли, к так называемой профессии; некоторым оставляется при этом свобода, призрачная свобода, самим выбирать эту роль, большинству же она навязывается. Результат достаточно странен: почти все европейцы в пожилом возрасте путают себя со своими ролями, они сами оказываются жертвами собственной “хорошей игры”, сами забывают, как много случая, каприза, произвола распоряжалось ими, когда решался вопрос их “профессии”, — и какое множество иных ролей смогли бы они, пожалуй, сыграть: ибо нынче уже слишком поздно! При более глубоком рассмотрении на деле из роли получился характер, из искусства — натура. Были времена, когда с категорической уверенностью, даже с благочестием верили в свое предназначение именно к этому вот занятию, к этому вот заработку и просто не желали признавать здесь случайностей, роли, произвола; сословия, гильдии, наследственные привилегии ремесла были в состоянии с помощью этой веры воздвигнуть ту громаду широких общественных башен, которые отличают Средние века и за которыми, во всяком случае, остается признать одно: способность к долговечности (а долговечность на земле есть ценность первого ранга!). Но бывают и обратные времена, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и когда на передний план выступает некая лихая вера и противоположная точка зрения: та вера афинян, которая впервые замечается в эпоху Перикла, та нынешняя вера американцев, которая все больше хочет сделаться верою и европейцев: когда каждый убежден, что способен почти на все, дорос почти до всякой роли, когда каждый испытывает себя, импровизирует, снова испытывает, испытывает с удовольствием, когда прекращается всякая природа и начинается искусство... Греки, впервые принявшие эту веру в роли — артистическую веру, если угодно, — шаг за шагом подверглись, как известно, диковинному и не во всех отношениях достойному подражания превращению: они на деле стали актерами; в качестве таковых они очаровали, завоевали весь мир — и, наконец, даже “завоевательницу мира” (ибо Graeculus histrio победил Рим, а не — как по обыкновению говорят невинные люди — греческая культура...). Но чего я боюсь, что уже сегодня становится осязательным, если есть охота осязать это, так это того, что мы, современные люди, вполне уже стоим на том же пути; и всякий раз, когда человек начинает обнаруживать, в какой мере он играет роль и в какой мере он может быть актером, он становится актером... Тем самым всходит новая флора и фауна людей, которые не смогли бы вырасти в более прочные, более ограниченные времена — или пребывали бы “внизу”, под гнетом и подозрением в бесчестии, — тем самым наступают всякий раз интереснейшие и сумасброднейшие периоды истории, когда “актеры”, всякого рода актеры оказываются доподлинными господами. Именно здесь все глубже ущемляется и, наконец, становится невозможной иная порода людей, прежде всего великие “строители”; строительная сила теперь парализована; исчезает мужество замышлять дальнебойные планы; дает о себе знать недостаток в организаторском гении: кто рискнет еще нынче на такие предприятия, завершение которых исчислялось бы тысячелетиями? Вымирает та старая вера, опираясь на которую человек мог бы рассчитывать, обещать, предупреждать будущее в планах, приносить его в жертву своему плану, — вера в то, что человек лишь постольку имеет ценность и смысл, поскольку он оказывается камнем в каком-либо великом строении; для чего он и должен прежде всего быть твердым, должен быть “камнем”... Прежде всего не — актером! Короче говоря — ах, это достаточно долго будут еще замалчивать! — если что впредь не будет больше строиться, не может

больше строиться, так это — общество в старом смысле слова: для постройки этого здания недостает уже всего, прежде всего материала. Все мы уже не представляем материала для общества: вот истина, которая вполне своевременна! Мне нет дела до того, что временами еще самый близорукий, возможно, честнейший, но во всяком случае скандальнейший тип человека, из ныне существующих, наши господа социалисты, верят в почти противоположное, надеются, грезят, прежде всего кричат и пишут: их программный лозунг “свободное общество” читают уже на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из чего его строят? Из деревянного железа! Из прославленного деревянного железа! И даже еще не деревянного...

357

К старой проблеме: “что есть немецкое”?

Пусть подсчитают про себя действительные достижения философской мысли, которыми мысль обязана немецким головам: могут ли они сколько-нибудь позволительным образом быть приписаны еще и целой расе? Вправе ли мы сказать, что они в то же время суть творение “немецкой души”, по крайней мере ее симптом, в том смысле, в каком мы привыкли считать, скажем, идеоманию Платона, его почти религиозное помешательство на формах, одновременно событием и свидетельством “греческой души”? Или истинным было бы обратное? то, что они были столь же индивидуальны, таким же исключением из духа расы, каковым было, например, чистосердечное язычество Гете? Или каковым является среди немцев чистосердечный макиавеллизм Бисмарка, его так называемая “реальная политика”? Быть может, наши философы, противоречат даже потребностям “немецкой души”? Короче, были ли немецкие философы действительно — философскими немцами? — Я напому о трех случаях. Прежде всего о несравненной проницательности Лейбница, обеспечивающей ему правоту не только против Декарта, но и против всего, что философствовало до него, — что сознательность есть лишь *accidens* представления, а не его необходимый и существенный атрибут, и что, стало быть, то, что мы называем созданием, оказывается лишь неким состоянием нашего духовного и душевного мира (возможно, болезненным состоянием), а далеко не им самим, — есть ли в этой мысли, глубина которой еще и сегодня не исчерпана, что-либо немецкое? Есть ли основание предполагать, что подобный переворот очевидного не легко дался бы какому-нибудь латинянину? — ибо это и есть переворот. Вспомним, во вторую очередь, о чудовищном вопросительном знаке Канта, который он приставил к понятию “причинности”, — не то чтобы он, как Юм, вообще сомневался в его праве: скорее, он принялся осторожно ограничивать область, в пределах которой это понятие вообще обладает смыслом (еще и теперь не покончили с этим маркированием границы). Возьмем, в-третьих, удивительную уловку Гегеля, который проломил ею все логические навыки и изнеженности, рискнув учить, что родовые понятия развиваются друг из друга: каковым тезисом умы в Европе и были преформированы к последнему великому научному движению, к дарвинизму, — ибо без Гегеля нет Дарвина. Есть ли в этой гегелевской новинке, впервые внесшей в науку решительное понятие “развития”, что-либо немецкое? — Да, без всякого сомнения: во всех трех случаях мы чувствуем, что в нас “открыто” и угадано нечто, и мы благодарны за это и в то же время ошарашены: каждый из этих трех случаев представляет собою наводящий на размышления образчик немецкого самопознания, самоиспытания, самопонимания. “Наш внутренний мир гораздо богаче, объемнее, скрытнее, чем кажется” — так чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в окончательности естественнонаучных выводов и вообще во всем, что предстает познанию каузальным: познаваемое, как таковое, обладает уже для нас меньшей значимостью. Мы, немцы, — гегельянцы, даже если бы никогда не было никакого Гегеля, поскольку мы (в противоположность всем латинянам) инстинктивно отводим становлению, развитию более глубокий смысл и более богатую значимость, чем тому, что “есть”, — мы едва ли верим в правомочия понятие “бытия”; равным образом, поскольку мы не склонны допускать за нашей человеческой логикой право быть логикой в себе, единственном родом логики (нам, скорее, хотелось бы убедить себя в том, что она есть лишь частный случай, и, возможно, один из наиболее странных и глупых). — Четвертый вопрос гласил бы, должен ли был и Шопенгауэр со своим пессимизмом, т. е. проблемой ценности существования, быть именно немцем. Не думаю. Событие, после которого следовало наверняка ожидать этой проблемы, так ячто какой-нибудь астроном души мог бы высчитать ее день и час — упадок веры в христианского Бога, победа научного атеизма, — есть общеевропейское событие, в котором все расы должны иметь свою долю заслуги и чести. Напротив, именно немцам — тем немцам, современником которых был Шопенгауэр, — следовало бы вменить в вину наиболее продолжительное и опаснейшее торможение этой победы атеизма; Гегель главным образом был ее замедлителем *par excellence*, соответственно предпринятой им грандиозной попытке убедить нас напоследок в божественности бытия с помощью нашего шестого чувства, “исторического чувства”. Шопенгауэр, как философ, был первым сознавшимся и непреклонным атеистом, какой только был у нас, немцев: его вражда к Гегелю имела здесь свою скрытую причину. Небожественность бытия считалась им чем-то данным, непосредственным, непререкаемым; он всякий раз терял свою рассудительность философа и впадал в гнев, когда замечал в ком-либо колебания и изворотливость в этом пункте. Здесь лежит вся его правдивость: безусловно честный атеизм оказывается как раз предпосылкой его постановки проблемы, как некая окончательно и тяжело достигнутая победа европейской совести, как чреватый последствиями акт двухтысячелетнего приучения к истине, которая в завершение запрещает себе ложь в вере в Бога... Очевидно,

что, собственно, одержало победу над христианским Богом: сама христианская мораль, все с большей строгостью принимаемое понятие правдивости, утонченность исповедников христианской совести, переведенная и сублимированная в научную совесть, в интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Рассматривать природу, как если бы она была доказательством Божьего блага и попечения; интерпретировать историю к чести божественного разума, как вечное свидетельство нравственного миропорядка и нравственных конечных целей; толковать собственные переживания, как их достаточно долгое время толковали набожные люди, словно бы всякое стечение обстоятельств, всякий намек, все было измышлено и послано ради спасения души: со всем этим отныне покончено, против этого восстала совесть, это кажется всякой более утонченной совести неприличным, бесчестным, ложью, феминизмом, слабостью, трусостью, — с этой строгостью, и с чем бы еще ни было, мы есмь добрые европейцы и наследники продолжительнейшего и отважнейшего самопреодоления Европы. Отталкивая от себя таким образом христианскую интерпретацию и осуждая ее “смысл”. Как фабрикации фальшивых монет, мы тотчас же со страшной силой сталкиваемся с шопенгауэровским вопросом: имеет ли существование вообще смысл? — вопрос, который нуждается в двух-трех столетиях, чтобы быть полностью и во всей глубине услышанным. То, что Шопенгауэр ответил на этот вопрос сам, было — мне простят это — чем-то скороспелым, юношеским, неким примирением, остановкой и погрязанием в христианско-аскетических моральных перспективах, которым вместе с верой в Бога была заказана вера вообще... Но он поставил вопрос — как добрый европеец, повторяю, а не как немец. — Доказали ли немцы, хотя бы тем, как они осиливали шопенгауэровский вопрос, свою внутреннюю причастность и родство, свою подготовленность, свою потребность в его проблеме? То, что после Шопенгауэра и в самой Германии — впрочем, достаточно поздно! — надумано и напечатано в связи с поставленной им проблемой, это не дает еще никаких оснований решить вопрос в пользу более тесной сопричастности; можно было бы, напротив, обратить внимание даже на своеобразную неуклюжесть (*Ungeschicktheit*) этого послешопенгауэровского пессимизма — явное дело, немцы чувствовали себя при этом не в своей стихии. Здесь я намекаю вовсе не на Эдуарда фон Гартмана; напротив, еще и теперь остается в силе мое старое подозрение, что он чересчур уклюж (*geschickt*) для нас, я хочу сказать, что он, как настоящий плут, с самого начала потешался, возможно, не только над немецким пессимизмом — что он напоследок мог бы “завещать” немцам признание в том, до какой степени можно, в век оснований, одурачить их самих. Но я спрашиваю: следует ли почитать за честь для немцев и старого волчка Банзена, который всю жизнь с каким-то сладострастием вертелся вокруг своего реал-диалектического горя и “личного невезения”, — было ли это в самом деле по-немецки? (я рекомендую при этом его сочинения, во что и сам употребил их, как антипессимистическую пищу, главным образом из-за его *elegantiae psychologicae*; с ними, как мне кажется, можно подступиться даже к страдающим затяжным запором телам и душам). Или позволительно ли было бы причислить к настоящим немцам таких дилетантов и старых дев, как слащавый апостол девичества Майнлендер? В конце концов он был евреем (все евреи становятся слащавыми, когда морализируют). Ни Банзен, ни Майнлендер, ни даже Эдуард фон Гартман не дают никакой сколько-нибудь надежной возможности для ответа на вопрос, был ли пессимизм Шопенгауэра, его обьятый ужасом взгляд на обезбоженный, глупый, слепой, свихнувшийся и подозрительный мир, его честный ужас... не только исключительным случаем среди немцев, но и немецким событием: тогда как все стоящее на переднем плане, наша храбрая политика, наша веселая патриотщина, которая довольно решительно рассматривает все вещи с точки зрения одного мало философского принципа (“*Deutschland? Deutschland uber alles*”, стало быть, *sub specie speciei*, именно немецкой *speciei*, все это с великой отчетливостью свидетельствует о противоположном. Нет! Нынешние немцы вовсе не пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, повторяю снова, как добрый европеец, а не как немец.

358

Крестьянская война духа.

Мы, европейцы, присутствуем при зрелище чудовищного мира развалин, где кое-что еще гордо высится, где многое подгнило и продолжает жутко торчать на месте, а большая часть уже обратилась в руины, достаточно живописные — были ли еще когда-либо более прекрасные руины? — и поросла большим и мелким сорняком. Церковь есть этот город погибели: религиозное общество христианства видится нам потрясенным до самих оснований — опрокинута вера в Бога; вера в христианско-аскетический идеал бьется еще своим последним смертными боем. Такое долгое и основательно сооруженное творение, как христианство — оно было последней римской постройкой! — не могло, конечно, быть снесено с одного разу; тут должны были прийти на помощь всякого рода землетрясения, всякого рода сверлящий, подкапывающий, подтачивающий, подмачивающий дух. Но что удивительнее всего, так это то, что те, кому больше всех пришлось потрудиться во охранение и в сохранение христианства, оказались как раз наиболее основательными его разрушителями — немцы. Кажется, немцы не понимают сущности церкви. Возможно, они недостаточно духовны для этого? недостаточно подозрительны? Во всяком случае, здание церкви зиждется на южной свободе и свободомыслии духа и, равным образом, на южной подозрительности к природе, человеку и духу — оно зиждется на совершенно ином знании человека, опыте о человеке, нежели тот, которым обладал Север. Лютеровская Реформация во всем ее размахе была возмущением самой ограниченности против чего-то “многогранного”, говоря осторожно, грубым,

обывательским непониманием, которому многое надо простить, — не понимали знамения торжествующей церкви и видели только коррупцию, превратно толковали аристократический скепсис, ту роскошь скепсиса и терпимости, которую позволяет себе всякая торжествующая, самоуверенная власть... Нынче достаточно ясно предстает взору, сколь фатально, наобум, поверхностно, неосторожно подходил Лютер ко всем кардинальным вопросам власти, прежде всего как человек из народа, которому совершенно недоставало наследия господствующей касты, самого инстинкта власти: так что его творение, его воля к восстановлению того римского творения стала, без его желания и ведома, лишь началом разрушения. В порыве честного негодования он распутывал, он разрывал там, где старый паук ткал столь тщательным и долгим образом. Он выдал каждому на руки священные книги, — тем самым они попали, наконец, в руки филологов, т. е. отрицателей всякой веры, жаждающей на книгах. Он разрушил понятие “церковь”, отбросив веру в богодухновенность соборов: ибо только при условии допущения, что инспирирующий дух, золоживший основания церкви, все еще живет в ней, все еще строит, все еще продолжает воздвигать свой дом, понятие “церковь” сохраняет силу. Он вернул священнику половое сношение с женщиной: но способность к благоговению, присущая вообще народу и прежде всего женщине из народа, на три четверти поддерживается верой в то, что исключительный человек и в этом пункте, как и в прочих пунктах, будет исключением, — именно здесь народная вера во что-то сверхчеловеческое в человеке, в чудо, в искупительную силу Бога в человеке обретает себе своего утонченнейшего и каверзнейшего адвоката. Лютер, после того как он дал священнику женщину, должен был отнять у него тайную исповедь, это было психологически верным решением: но вместе с этим был, по существу, упразднен и сам христианский священник, глубочайшая полезность которого всегда состояла в том, чтобы быть священным ухом, скрытным колодцем, гробовой доской для всяческих тайн. “Каждый сам себе священник” — за подобного рода формулами и их мужицким лукавством пряталась у Лютера лютая ненависть к “высшему человеку” и господству “высшего человека”, как оно было намечено церковью: он разбил идеал, которого сам не мог достигнуть, в то время как казалось, что он ненавидит и поражает вырождение этого идеала. Невозможный монах, он фактически отпихнул от себя господство *homines religiosi*: таким образом он осуществил в пределах церковного общественного порядка то самое, с чем он так нетерпимо боролся в связи с бюргерским порядком, — “крестьянскую войну”. — Все, что только ни выросло вслед за этим из его Реформации, все хорошее и дурное, что и сегодня уже может быть приблизительно подсчитано, — кто был бы столь наивным, чтобы просто хвалить или порицать Лютера за эти последствия? Он безвиновен во всем, он не ведал, что творил. Обмеление европейского духа, главным образом на Севере, его одобродушивание (*Vergutmung*), если угодно выразить это моральным словом, изрядно продвинулось вперед с лютеровской Реформацией, в этом нет никакого сомнения; и равным образом через нее возросла подвижность и непоседливость духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его “натуральность”. Если хотят, в конечном счете, воздать ей должное в подготовке и поощрении того, что мы сегодня чтим как “современную науку”, то к этому конечно же следует добавить, что она виновна также и в вырождении современного ученого, в свойственном ему недостатке благоговения, стыдливости и глубины, во всей наивной чистосердечности и обывательщине в делах познания, короче, в том плебействе духа, который характерен для двух последних столетий и от которого нас еще несколько не избавил даже недавний пессимизм — и “современные идеи” принадлежат все еще к этой крестьянской войне Севера против более холодного, более двусмысленного и недоверчивого духа Юга, который воздвиг себе в христианской церкви величайший свой памятник. Не будем в конце концов забывать, что такое церковь, и как раз в противоположность всякому “государству”: церковь есть прежде всего структура господства, гарантирующая высший ранг более духовным людям и настолько уверенная в могуществе духовности, что запрещающая себе всякие более грубые средства насилия, — уже одним этим церковь при всех обстоятельствах есть более аристократическая интуиция, чем государство.

359

Месть уму и прочие подоплеки морали.

Мораль — где ты, по вашему мнению, могла она иметь своих наиболее опасных и наиболее коварных адвокатов?... Вот неудачник; у него недостаточно ума, чтобы радоваться этому, зато достаточно образования, чтобы знать об этом; томящийся от скуки, пресыщенный, презирующий себя; обманутый, увы, вследствие какого-то унаследованного состояния и последним утешением — “благословением труда”, самозабвением в “повседневной работе”; некто, в корне стыдящийся своего существования — возможно, приютил он в себе в придачу к этому два-три маленьких порока, — а с другой стороны, не может не приобретать все более дурных привычек и не становится тщеславно-раздражительным от книг, на которые он не имеет никакого права, или от общения с людьми, более умными, чем он может переварить: такой насквозь отравленный человек — ибо у подобного рода неудачников ум становится ядом, образование становится ядом, имущество становится ядом, одиночество становится ядом — приходит, наконец, в привычное состояние мести, воли к мести... что, по вашему мнению, понадобится ему, безусловно понадобится ему, чтобы создать себе иллюзию превосходства над более умными людьми, чтобы сотворить себе радость осуществленной мести, по крайней мере в собственном воображении? Всегда моральность — можно биться об заклад, — всегда громкие моральные слова, всегда

бумбум справедливости, мудрости, святости, добродетели, всегда стоицизм жестов (как хорошо упрятывает стоицизм то, чем не обладаешь!..), всегда мантия умного молчания, общительности, мягкости и как бы там еще ни назывались все мантии идеалистов, под которыми расхаживают неисцелимые самоненавистники и неисцелимые тщеславцы. Пусть не поймут меня ложно: из таких при рожденных врагов ума возникает временами та редкостная образина рода человеческого, которую чтут в народе под именем святого и мудрого; из таких людей выходят те чудища морали, которые делают шум, делают историю, — святой Августин принадлежит к ним. Страх перед умом, месть уму — о, сколь часто становились эти движущие пороки корнем добродетелей! Даже самой добродетелью! — И, между нами будь спрошено, даже та претензия философов на мудрость, что иногда встречается на земле, сумасброднейшая и наглейшая из всех претензий, — разве не была она всегда — в Индии, как и в Греции, — прежде всего убежищем? Иногда, быть может, в целях воспитания, освящающего такое количество лжи, — как нежное внимание к становящимся, растущим, к юношам, которые часто верою в личность (заблуждением) должны быть защищены от самих себя... В большинстве случаев, однако, — убежище философа, где он спасается от утомления, старости, остывания, очерствления, как чувство близкого конца, как смышленность того инстинкта, который присущ животным перед смертью, — они отходят в сторону, стихают, уединяются, заползают в нормы, становятся мудрыми... Как? Мудрость — убежище философа от — ума?

360

Два рода причин, которые смешивают.

Это кажется мне одним из наиболее существенных моих шагов и продвижений: я научился отличать причину поступка от причины, вынуждающей поступать так-то и так-то, в этом направлении, с этой целью. Первого рода причина есть некий квантум скопившейся силы, ждущей случая как-нибудь выйти; второй род, напротив, сравнительно с этой силой есть нечто незначительное, большей частью мелкий случай, сообразно с которым тот квантум “разрешается” теперь по типу отношения спички к пороховой бочке. К этим мелким случаям и спичкам я причисляю все так называемые “цели”, равным образом как и еще более так называемые “жизненные призвания”: в сравнении с чудовищным квантумом силы, стремящейся, как было сказано, уйти во что-то, они представляют собою нечто относительно случайное, произвольное, почти безразличное. По обыкновению видят это иначе: именно в цели (надобности, призвании и т. д.) привыкли видеть движущую силу, соответственно древнейшему заблуждению, — но она есть только управляющая сила: при этом смешивают кормчего с паром. И не всегда только кормчего, управляющую силу... Разве “цель”, “надобность” не оказывается достаточно часто лишь благовидным предлогом, добавочным самоослеплением тщеславия, не желающего признаться, что корабль следует течению, в которое он случайно попал? Что он “хочет” туда, поскольку он туда — должен? Что, разумеется, он имеет направление, но уж никак — не кормчего? — Критика понятия “цель” все еще остается необходимостью.

361

О проблеме актера.

Проблема актера беспокоила меня дольше всего; я был (а временами бываю еще и теперь) в неведении относительно того, не здесь ли таится пункт, откуда только и можно было бы подступиться к опасному понятию “художник”, — понятию, которое брали до сих пор с непростительным благодушием. Фальшивость с чистой совестью; вождедеющее пристрастие к притворству, вырывающееся наружу как власть, сдвигающее в сторону так называемый “характер”, затопляющее его, временами погашающее; внутреннее стремление войти в роль и маску, в видимость; избыток всякого рода приспособляемостей, которые не могут уже довольствоваться исполнением ближайшей непосредственной обязанности: все это есть, быть может, не только актер сам по себе?.. Подобный инстинкт легче всего вырабатывается в семьях низших сословий, которые вынуждены были влачить свою жизнь под переменчивым гнетом и принуждением, в глубокой зависимости, которым приходилось ловко по одежке протягивать ножки, все наново приспособляться к новым обстоятельствам, всякий раз притворяться и прикидываться по-новому — постепенно держать нас по всякому ветру и самим становиться почти что носом — мастером того органически усвоенного и заядлого искусства вечной игры в прятки, которую у животных называют *timistu*: так от поколения к поколению накапливается это состояние, пока, наконец, не становится барским, неразумным, необузданным, пока не приучается к тому, чтобы, будучи инстинктом, командовать другими инстинктами, и не порождает актера, “художника” (поначалу скомороха, вряля, фигляра, дурня, клоуна, также и классического лакея, Жиль Блаза: ибо в таких типах дана предыстория художника и довольно часто даже “гения”). Схожий тип человека вырастает и в более высоких слоях общества под схожим гнетом: только там актерский инстинкт чаще всего обуздывается другим инстинктом, например, у “дипломата” — я склонен, впрочем, думать, что хорошему дипломату никогда не возбраняется быть также хорошим театральным актером, допустив, что ему это как раз “не возбраняется”. Что, однако, до евреев, народа, владеющего искусством приспособления *par excellence*, то можно было бы, согласно этому ходу мыслей, усматривать в них с самого начала как бы некое всемирно-историческое мероприятие по разведению актеров,

настоящий инкубатор актеров; и в самом деле, вопрос весьма настоящий инкубатор актеров; и в самом деле, вопрос весьма ко времени: какой хороший актер нынче не-еврей? Даже в качестве прирожденного литератора, фактического властелина европейской прессы, еврей практикует эту свою власть, опираясь на свою актерскую способность: ибо литератор, в сущности, есть актер — он играет именно “знатока”, “специалиста”. — Наконец, женщины: пусть поразмыслят о всей истории женщин — не должны ли они, прежде всего и поверх всего, быть актрисами? Пусть прислушаются к врачам, которым доводилось гипнотизировать бабенок; пусть, наконец, полюбят их — пусть поддадутся их “гипнозу”! Что при этом всегда получается? Что они “отдаются роли” даже тогда, когда они — отдаются... Женщина так артистична...

362

Наша вера в возмужание Европы.

Наполеону (а вовсе не французской Революции, стремившейся к “братству” народов и всеобщей цветистой взаимности сердец) обязаны тем, что теперь последуют, должно быть, друг за другом два-три воинственных столетия, равных которым нет в истории, короче, тем, что мы вступили в классическую эпоху войны, ученой и в то же время народной войны в величайшем масштабе (средств, дарований, дисциплины), на которую грядущие тысячелетия будут с завистью и благоговением взирать, как на некий образец совершенства: ибо национальное движение, из которого вырастает этот ореол вокруг войны, есть лишь противошок, вызванный Наполеоном, и без Наполеона не имело бы места. Ему, стало быть, смогут некогда вменить в заслугу, что мужчина вновь стал в Европе господи ном над купцом и филистером; возможно, даже над “женщиной”, которая была избалована христианством и мечтательным духом XVIII столетия, а еще больше “современными идеями”. Наполеон, видевший в современных идеях и непосредственно в самой цивилизации нечто вроде личного врага, проявил себя этой враждой как величайший продолжатель Ренессанса: он снова вынес на свет цельный обломок античного существа, решающий, пожалуй, обломок гранита. И кто знает, не возьмет ли верх в конце концов этот обломок античного существа и над национальным движением и не суждено ли ему стать в утвердительном смысле наследником и продолжателем Наполеона, который, как известно, домогался единой Европы, и Европы, как повелительницы земного шара.

363

О том, как каждому полу присущ свой предрассудок о любви.

При всей уступке, которую я готов сделать моногамическому предрассудку, я все же никогда не допущу, чтобы говорили о равных правах мужчины и женщины в любви: таковых не существует. Это значит: мужчина и женщина неодинаково понимают любовь — и к условиям любви у обоих полов принадлежит то, что один пол предполагает в другом поле иное чувство, иное понятие “любви”. Женское понимание любви достаточно ясно: совершенная преданность (а не только готовность отдаться) душою и телом, без всякой оглядки, без какой-либо оговорки, скорее, со стыдом и ужасом при мысли о том, что преданность может быть оговорена и связана условиями. Как раз в этом отсутствии условий ее любовь оказывается верою: у женщины нет другой веры. — Мужчина, любящий женщину, хочет от нее именно этой любви и, стало быть, в своей любви диаметрально противоположен предпосылке женской любви; допустив же, что возможны и такие мужчины, которым, с их стороны, не чуждо стремление к совершенной готовности отдаться, то — какие же это мужчины! Мужчина, который любит, как женщина, становится от этого рабом; женщина же, которая любит, как женщина, становится от этого более совершенной женщиной... Страсть женщины, в своем безусловном отказе от собственных прав, предполагает как раз отсутствие подобного пафоса, подобной готовности к отказу на другой стороне: ибо откажись оба из любви от самих себя, из этого вышло бы — уж я и не знаю что: должно быть, какой-то вакуум? — Женщина хочет быть взятой, принятой, как владение, хочет раствориться в понятии “владение”, быть “обладаемой”, стало быть, хочет кого-то, кто берет, кто не дает самого себя и не отдает, кто, напротив, должен богатеть “собою” — через прирост силы, счастья, веры, в качестве чего и отдает ему себя женщина. Женщина предоставляет себя, мужчина приобретает — я думаю, эту природную противоположность не устранят никакие общественные договоры, ни самые благие стремления к справедливости, сколь бы ни было желательно, чтобы черствость, ужасность, загадочность, безнравственность этого антагонизма не торчали вечно перед глазами. Ибо любовь, помысленная во всей цельности, величии и полноте, есть при рода и, как природа, нечто на веки вечные “безнравственное”. — Верность, таким образом, заключена в самой женской любви, она вытекает уже из ее определения; у мужчины она с легкостью может возникнуть вследствие его любви, скажем, как благодарность или как идиосинкразия вкуса и так называемое избирательное сродство, но она не принадлежит к сущности его любви — не принадлежит в такой степени, что можно было бы почти с некоторым правом говорить о полной противоположности между любовью и верностью у мужчины: его любовь есть как раз желание обладать, а не отказ и преданность: но желание обладать кончается всякий раз с самим обладанием... Фактически любовь мужчины, который редко и поздно сознается себе в этом “обладании”, продолжается за счет его более утонченной и более подозрительной жадности обладания; оттого возможно даже, что она еще возрастет после того,

как женщина отдаст ему себя, — ему не легко отдаться мысли, что женщине нечего больше ему “отдать”.

364

Отшельник говорит.

Искусство общаться с людьми покоится, по сути дела, на ловком умении (предполагающем долгую подготовку) воспринимать и принимать еду, к кухне которой не питаешь никакого доверия. Если допустить, что подходишь к столу с волчьим голодом, дела идут как нельзя легче (“самое дурное общество не лишает тебя чувств”, как говорит Мефистофель); но он мигом улечивается, этот волчий голод, едва начинаешь его утолять! Ах, как трудно перевариваются ближние! Первый принцип: мобилизовать все свое мужество, как при каком-либо несчастье, храбро приступить к делу, дивясь при этом самому себе, прикусить зубами свое отвращение, заглотать чувство тошноты. Второй принцип: “исправлять” своего ближнего, скажем, расхваливая его так, чтобы он начал потеть своим счастьем; или, ухватясь за кончик его хороших или “интересных” свойств, тащить за него, покуда не вытащишь всю добродетель и не спрячешь ближнего в ее складках, Третий принцип: самогипноз. Фиксировать свой объект общения, как какую-нибудь стеклянную пуговицу, покуда не перестанешь ощущать при этом удовольствие и неудовольствие и не уснешь незаметным для себя образом, оцепенев в какой-нибудь позе: домашнее средство, вдоволь испробованное на женах и друзьях, расхвалено как незаменимое средство, но не сформулировано еще научным образом. Его популярное название — терпение.

365

Отшельник говорит еще раз.

И мы общаемся с “людьми”, и мы скромно облачаемся в одежду, в которой (как таковой) нас узнают, принимают, ищут, и в ней отправляемся в общество. Т. е. в среду переодетых людей, не желающих так называться; и мы поступаем, как все умные маски, и вежливо выставаем за дверь всякое любопытство, касающееся не только “одежды”. Но есть и другие способы и фокусы “общаться” среди людей, с людьми: например, в качестве привидения, — что весьма уместно, если хочешь поскорее избавиться от них и нагнать на них страху. Проба: нас ловят и не могут поймать. Это пугает. Или: мы входим сквозь запертую дверь. Или: когда все огни погашены. Или: после того, как мы уже умерли. Последнее есть фокус посмертников *par excellence*. (“А что вы думаете? — сказал однажды нетерпеливо один такой. — Была бы у нас охота выносить эту чужбину, холод, гробовую тишину, все это подземное, скрытое, немое, неизведанное одиночество, которое у нас зовется жизнью и с таким же успехом могло бы зваться смертью, когда бы мы не знали, что из нас получится, — и что мы только после смерти приходим к нашей жизни и становимся живыми, ах! слишком живыми! мы, посмертники!”

366

В связи с одной ученой книгой.

Мы не принадлежим к тем людям, которые начинают мыслить лишь в окружении книг, от соприкосновения с книгами, — мы привыкли мыслить под открытым небом, на ногах, прыгая, карабкаясь повсюду, танцуя, охотнее всего в одиноких горах или у самого моря, там, где даже тропинки становятся задумчивыми. Наши первые вопросы в связи с оценкой книги, человека и музыки гласят: может ли он ходить? больше: может ли он танцевать?.. Мы редко читаем, мы от этого читаем не хуже — о, сколь быстро угадываем мы, каким путем некто пришел к своим мыслям, сидя ли перед чернильницей, со вдавленным животом, склонив голову над бумагой; о, сколь быстро сводим мы счеты с его книгой! Сдавленные потроха выдают себя — можно биться об заклад — так же, как выдает себя спертый комнатный воздух, комнатный потолок, комнатная теснота. — Таковы были мои чувства, когда я как раз захлопнул одну честную ученую книгу, с благодарностью, с большой благодарностью, но и с облегчением... В книге, вышедшей из-под пера ученого, почти всегда есть и что-то давящее, придавленное: “специалист” где-нибудь да всплывает на поверхность со своим рвением, своей серьезностью, своей озлобленностью, своей переоценкой угла, в котором он сидит и прядет, своим горбом — у всякого специалиста свой горб. Ученая книга всегда отражает покалеченную душу: всякое ремесло калечит. Свидетелься бы с друзьями, с которыми прошла юность, после того как они овладели своей наукой: ах, случается и обратное! Ах, и сами они отныне и навсегда захвачены и одержимы ею! Вросшие в ее угол, придавленные до неузнаваемости, несвободные, потерявшие равновесие, осунувшиеся, угловатые ко всем и везде, и только в одной позиции изрядно круглые, — умиляешься и умолкаешь, вновь обретая их такими. Всякое ремесло, допустив даже, что оно имеет золотой пол, имеет над собою еще и свинцовую крышу, которая давит и давит на душу, покуда не придавливает ее до причудливой кривизны. Тут уж ничего не изменишь. Пусть не думают, что можно было бы избежать этого обезображивания путем какого-либо искусства воспитания. Мастерство всякого рода дорого обходится на этой земле, где, возможно, все обходится слишком дорого; делаешься человеком своего ремесла даже ценою того, что приносишь себя в жертву своему ремеслу. Но вы хотите добиться этого иначе — “дешевле” прежде всего, удобнее, — не правда ли, мои господа современники? Что ж! Но тогда вы тотчас

получаете еще и нечто другое в придачу, именно, вместо ремесленника и мастера — литератора, вертлявого, “многоопытного” литератора, у которого, конечно, нет горба — не считая того, который он изображает перед вами в качестве приказчика духа и “носильщика” образования, — литератора, который, собственно, есть ничто, но “репрезентирует” почти все, который разыгрывает из себя и “представляет” знатока и который со всей скромностью берет на себя роль получать вместо него плату, почести, славу. — Нет, мои ученые друзья! Я благословляю вас еще и из-за вашего горба! И за то, что вы, подобно мне, презираете литераторов и тунеядцев образования! И что вы не умеете торговать духом! И сплошь имеете мнения, которые не выражаются денежным курсом! И что вы не представляете ничего такого, чем вы не являетесь на деле! Что единственная ваша воля — стать мастерами своего ремесла, испытывая благоговение перед всякого рода мастерством и умелостью и самым беспощадным образом отклоняя все призрачное, полуправдивое, принаряженное, виртуозное, демагогическое, актерское *in litteris et artibus*, — все то, что не может удостоверить себя перед вами по части безусловной правдивости воспитания и подготавливательной выучки! (Даже гениальность не в силах преодолеть подобный недостаток, сколь бы горазда ни была она в его замазывании: достаточно однажды взглянуть вблизи на наших одареннейших художников и музыкантов, чтобы понять это, — все они, почти без исключения, путем хитрой изобретательности манер, подсобных средств, даже принципов умеют искусно и задним числом перенимать декорум этой правдивости, это солидности выучки и культуры, разумеется нисколько не обманывая этим самих себя, ничуть не затыкая этим рот своей собственной нечистой совести. Ибо, разве вы не знаете? все великие современные художники страдают нечистой совестью...)

367

Как прежде всего следует различать произведения искусства.

Все, что создается в помыслах, в стихах, живописи, музыке, даже в архитектуре и скульптуре, принадлежит либо монологическому искусству, либо искусству перед свидетелями. К последнему надо причислить еще и то мнимое монолог-искусство, которое заключает в себе веру в Бога, всю лирику молитвы: ибо для набожного не существует еще никакого одиночества, — честь этого изобретения принадлежит нам, безбожникам. Я не знаю более глубокого различия, характеризующего его оптику художника, чем следующее: смотрит ли он на свое становящееся творение (на “себя”) — глазами свидетеля, или он “забыл про мир”, что является существенной чертой всякого монологического искусства, — оно покоится на забвении, оно есть музыка забвения.

368

Циник говорит.

Мои возражения против музыки Вагнера суть физиологические возражения: к чему еще переряжать их в эстетические формулы? Мой “факт” заключается в том, что я уже не дышу с легкостью, когда на меня действует эта музыка; что на нее тотчас же начинает злиться и роптать моя нога — со своей потребностью в такте, танце, марше, с требованием от музыки прежде всего восторгов, заключающихся в хорошем ходе, шаге, прыжке, танце. — Не протестует ли, однако, и мой желудок? мое сердце? мое кровообращение? мои внутренности? Не становлюсь ли я при этом внезапно охрипшим? — Итак, я спрашиваю себя: чего, собственно, хочет все мое тело от музыки вообще? Я думаю, своего облегчения: как бы того, чтобы все животные функции были ускорены легкими, смелыми, шаловливыми, самоуверенными ритмами; как бы того, чтобы медная, свинцовая жизнь озолотилась золотыми, хорошими, нежными гармониями. Моя тоска хочет отдохнуть в тайниках и пропастях совершенства: для этого нужна мне музыка. Что мне драма! Что мне судороги ее нравственных экстазов, в которых “народ” находит свое удовлетворение! Что мне весь мимический фокус-покус актера!.. Вы угадали, я создан антитеатралом по существу, — но Вагнер, напротив, был по существу человеком театра и актером, самым вдохновенным мимоманом из всех когда-либо существовавших, так же и как музыкант!.. И, говоря мимоходом: если теорией Вагнера было, что “драма есть цель, а музыка всегда лишь ее средство”, — то практикой его, напротив, было от начала до конца, что “поза есть цель, драма же, а также и музыка лишь ее средство”. Музыка как средство для толкования, усиления, углубления драматических жестов и актерской ошутимости; и вагнеровская драма лишь повод для многих драматических поз! Он обладал, наряду со всеми другими инстинктами, командующими инстинктами великого актера, во всем исключительно: и, как сказано, также в качестве музыканта. — Однажды я не без труда уяснил это одному честному вагнерианцу: и у меня были основания еще добавить к этому: “будьте же немножко честнее по отношению к самому себе: мы же не в театре! В театре честны только в массе; в одиночку же лгут, облыгают себя. Оставляют самих себя дома, когда отправляются в театр, отказываются от права на собственный язык и выбор, на свой вкус, даже на свою храбрость в том виде, в каком имеют и оттачивают ее в собственных четырех стенах на Боге и человеке. В театре никто не приносит с собою утонченнейших чувств своего искусства, даже художник, работающий для театра: там становишься народом, публикой, стадом, женщиной, фарисеем, голосующим скотом, демократом, ближним, окружением, там даже и самая личная совесть подчиняется нивелирующим чарам “подавляющего большинства”, там действует глупость, как похоть и очаг инфекции, там царствует “сосед”. Там становишься соседом...” (Я

забыл сказать, что ответил мой просвещенный вагнерианец на мои физиологические возражения: “Вы, значит, и сами не вполне еще здоровы для нашей музыки?”)

369

Наше сосуществование.

Не должно ли нам, художникам, сознаться себе в том, что в нас есть некое зловещее различие между нашим вкусом и, с другой стороны, нашей творческой силой, которые странным образом существуют, продолжают существовать и растут сами по себе, — я хочу сказать, имеют совершенно различные степени и темпы старости, юности, зрелости, дряблости, рыхлости? Та что, к примеру. Какой-нибудь музыкант мог бы всю жизнь творить вещи, противоречащие тому, что ценит, смакует, предпочитает его избалованное ухо слушателя, сердце слушателя: ему и не было нужды знать об этом противоречии! Можно, как свидетельствует мучительный и едва ли не регулярный опыт, с легкостью превзойти своим вкусом вкус своей силы, не подавляя тем самым последнюю и не препятствуя ее проявлению; но может случиться и нечто обратное, — и вот на это-то и хотел бы я обратить внимание художников. Постоянно-творящий, некая “мать” в человеке, в великом смысле слова, некто, не желающий знать и слышать ни о чем, кроме беременностей и яслей своего духа, просто не располагающий временем для раздумий над собой и над своим творением, для сравнений, нисколько не склонный все еще развивать собственный вкус и попросту забывающий о нем, предоставляющий ему стоять, лежать или падать, — такой художник, должно быть, создает в итоге произведения, до которых он далеко еще не дорос своим суждением: и оттого гордит о них и о себе чепуху — не только на языке, но и в мыслях. У плодовитых художников это, на мой взгляд, почти нормальное соотношение — никто не знает ребенка хуже родителей, — и это значимо даже, если взять чудовищный пример, для всего греческого мира поэтов и художников: он никогда не “ведал”, что творил...

370

Что такое романтика?

Быть может, припомнят, по крайней мере среди моих друзей, что поначалу я набросился на этот современный мир с некоторыми непроглядными заблуждениями и преувеличенными оценками, во всяком случае, как надеющийся. Я понимал — кто знает, на основании каких личных опытов? — философский пессимизм XIX века как симптом высшей силы мысли, более смелой отваги, более победного избытка жизни, чем это было свойственно XVIII веку, эпохе Юма, Канта, Кондильяка и сенсуалистов: оттого и представало мне трагическое познание доподлинной роскошью нашей культуры, самым драгоценным, самым аристократичным, самым опасным способом ее расточительства, но и все же, вследствие ее чрезмерного богатства, роскошью дозволенной. Равным образом толковал я себе и немецкую музыку, как надлежащее выражение дионисической мощи немецкой души: мне казалось, я слышу в ней землетрясение, с которым, наконец, вырывается на волю издревле запруженная первобытная сила, равнодушная к тому, что при этом сотрясается все, называющее себя культурой. Вы видите, я проглядел тогда, как в философском пессимизме, так и в немецкой музыке, то именно, что составляет их доподлинный характер — их романтику. Что такое романтика? Каждое искусство, каждая философия может быть рассматриваема как целебное и вспомогательное средство на службе у возрастающей, борющейся жизни: они предполагают всегда страдание и страждущих. Но есть два типа страждущих: во-первых, страждущие от избытка жизни, которые хотят дионисического искусства, а также трагического воззрения и прозрения в жизнь, — и, во-вторых, страждущие от оскудения жизни, которые ищут через искусство и познание покоя, тишины, гладкого моря, избавления от самих себя или же опьянения, судороги, оглушения, исступления. Двойной потребности последних отвечает всякая романтика в искусстве и познании, ей отвечали (и отвечают) как Шопенгауэр, так и Рихард Вагнер, если назвать тех прославленнейших и выразительнейших романтиков, которые тогда превратно толковались мною, — впрочем, отнюдь не во вред им, как по всей справедливости должны бы признаться мне. Преизбыточествующий жизнью дионисический бог и человек может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние и всякую роскошь разрушения, разложения, отрицания; у него злое, бессмысленное и безобразное предстает как бы дозволенным, вследствие избытка порождающих, оплодотворяющих сил, который может создать из всякой пустыни цветущий плодоносный край. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью больше всего понадобилась бы кротость, миролюбие и доброта, как в мыслях, так и в поступках, — понадобился бы, по возможности, Бог, который был бы исключительно Богом для больных, “спасителем”, равным образом понадобилась бы логика, отвлеченная понятность бытия — ибо логика успокаивает, внушает доверие, — короче, понадобилась бы некоторая теплая, оберегающая от страха теснота и заключенность в оптимистических горизонтах. Так научился я постепенно понимать Эпикура, противоположность дионисического пессимиста, равным образом научился я понимать “христианина”, который на деле есть лишь некий род эпикурейца и, подобно последнему, романтик по существу, — взгляд мой все больше и больше изощрялся в той труднейшей и коварнейшей форме обратного заключения, в которой делается большинство ошибок, — обратного заключения от творения к творцу, от деяния

к его виновнику, от идеала к тому, кому он нужен, от всякого образа мыслей и оценок к командующей из-за кулис потребности. — По отношению ко всем эстетическим ценностям пользуюсь я теперь следующим основным различием: я спрашиваю в каждом отдельном случае: “Стал ли тут творческим голод или избыток?” Казалось бы, поначалу можно было в большей степени рекомендовать другое различие — оно гораздо очевиднее, — именно, является ли причиной творчества стремление к фиксации, увековечению, к бытию или же, напротив, стремление к разрушению, к изменению, к новому, к будущему, к становлению. Но при более глубоком рассмотрении оба рода стремления оказываются все еще двусмысленными и вполне укладываются в вышеприведенную и, как мне кажется, более предпочтительную схему. Стремление к разрушению, изменению, становлению может быть выражением избыточной, чреватой будущим силы (мой *terminus* для этого, как известно, есть слово “дионисический”), но оно может быть также ненавистью неудачника, лишенца, горемыки, который разрушает, должен разрушать, ибо его возмущает и раздражает существующее, даже все существование, все бытие — взгляните, чтобы понять этот аффект, в наших анархистов. Воля к увековечению равным образом требует двойной интерпретации. Во-первых, она может исходить из благодарности и любви: искусство, имеющее такое происхождение, будет всегда искусством апофеоза — дифирамбическим, быть может, у Рубенса, блаженно-онасмешливым у Хафиза, светлым и благосклонным у Гете и осеняющим все вещи гомеровским светом и славой. Но она может быть и тиранической волей какого-нибудь неисцелимого страдальца, борца, мученика, который хотел бы проштемпелевать принудительным и общим для всех законом свое самое личное, самое сокровенное, самое узкое, действительную идиосинкразию своего страдания, и который словно бы мстит всем вещам, накладывая на них, впихивая в них, вжигая в них свой образ, образ своей пытки. Последнее есть романтический пессимизм в наиболее выразительной его форме, будь это шопегнауэровская философия воли или вагнеровская музыка; романтический пессимизм, последнее великое событие в судьбе нашей культуры. (Что мог бы существовать еще и совсем иной пессимизм, классический. — это предчувствие и провидение принадлежит мне, как нечто неотделимое от меня, как мое *proprium* и *ipsissimum*; разве что слово “классический” противно моим ушам, слишком уж оно истаскано, округлено, обезображено. Тот пессимизм будущего — ибо он грядет! я вижу его приближение! — я называю дионисическим пессимизмом.)

371

Мы, непонятные.

Жаловались ли мы когда-нибудь на то, что мы превратно истолкованы, неузнаны, перепутаны, оклеветаны, недослышаны и прослышаны? Именно таков наш жребий — о, надолго еще! скажем, чтобы быть скромными. До 1901 года, — таково же и наше отличие; мы недостаточно уважали бы самих себя, если бы желали иного. Нас путают — стало быть, мы сами растем, непрерывно меняемся, сдираем с себя старую кору, мы с каждой весной сбрасываем еще с себя кожу, мы становимся все более юными, более будущими, более высокими, более крепкими, мы все мощнее пускаем наши корни в глубину — во зло, — и в то же время все с большей любовью, с большим обхватом обнимаем небо, и с большей жаждой всасываем в себя его свет всеми нашими ветвями и листьями. Мы растем, как деревья, — это трудно понять, как и все живое! — не на одном месте, а повсюду, не в одном направлении, но вверх и вовне, как и внутрь и вниз, — наша сила идет одновременно в ствол, сучья и корни, мы уже вовсе не вольны делать что-либо частное, быть чем-либо частным... Таков наш жребий, как сказано: мы растем высь; и будь это даже нашим роком — ибо мы обитаем все ближе к молниям! — что ж, мы оттого не меньше дорожим этим; мы лишь не хотим дели ть его и дели ться им, храня это в себе как рок высот, наш рок...

372

Почему мы не идеалисты.

Прежде философы боялись чувств: уж не слишком ли мы — отучились от этого страха? Нынче мы, сегодняшние и завтрашние философы, все до одного сенсуалисты, не в теории, а в праксисе, на практике... Тем, напротив, казалось, что чувства увлекают их из их мира, холодного царства “идей”. На опасный южный остров, где, как они опасались, их философские добродетели растаяли бы, точно снег на солнце. “Воск в ушах” — это было тогда почти условием философствования; настоящий философ уже не слышал жизни, поскольку жизнь есть музыка, он отрицал музыку жизни: старое суеверие философов, что всякая музыка есть музыка сирен. — Что ж, мы склонны нынче судить как раз наоборот (что само по себе могло бы еще быть столь же ложно): именно, что идеи суть более скверные обольстительницы, чем чувства, со всею их холодной художочной призрачностью и даже не вопреки этой призрачности, — они всегда жили “кровью” философа, всегда пожирали его чувства и даже, если угодно поверить нам, его “сердце”. Эти старые философы были бессердечны: философствование всегда было некоего рода вампиризмом. Разве вы не ощущаете в таких образах, как еще Спиноза, чего-то глубоко загадочного и зловещего? Разве не видите спектакля, который здесь разыгрывается, постоянного обескровления, все более идеально толкуемой отвлеченности? Разве не предчувствуете за кулисами какой-то длинной спрятавшейся пиявки-кровопийцы, которая начинает с чувств и кончает объедками костей и лязгом? —

я имею в виду категории, формулы, слова (ибо — да простят мне — то, что осталось от Спинозы, amor intellectualis dei, и есть лязг, не больше! какая там amor, какой deus когда в них нет и капли крови?..). In summa: всякий философский идеализм был до сих пор чем-то вроде болезни, если только он не был, как в случае Платона, перестраховкой избыточного и опасного здоровья, страхом перед сверхмощными чувствами, смышленостью смышленного сократика. — Быть может, мы, современные, лишь недостаточно здоровы, чтобы нуждаться в идеализме Платона? И мы не боимся чувств, потому что —

373

“Наука” как предрассудок.

Из законов табели о рангах следует, что ученые, поскольку они принадлежат к духовному среднему сословию, не вправе обнаруживать доподлинных великих проблем и сомнений; к тому же до этого не дотягивает ни их мужество, ни равным образом их взгляд, — прежде всего их потребность, в силу которой они становятся исследователями, их внутреннее предвосхищение и взыскание такого вот, а не иного распорядка вещей, их страх и надежда слишком скоро успокаиваются и умиротворяются. То, что, например, заставляет педантичного англичанина Герберта Спенсера мечтать на свой лад и проводить штрих надежды, горизонтальную линию благих пожеланий, то окончательное примирение “эгоизма и альтруизма”, о котором он несет вздор, вызывает у нашего брата почти чувство гадливости: с такими спенсеровскими перспективами, принятыми за последние перспективы, человечество кажется нам достойным презрения, уничтожения! Но уже одно то, что им воспринимается как величайшая надежда нечто такое, что другие считают и вправе считать просто отвратительной возможностью, есть вопросительный знак, которого Спенсер не был бы в состоянии предвидеть... Равным образом обстоит дело и с той верой, которою довольствуются нынче столь многие материалистические естествоиспытатели, — верой в мир, который должен иметь свой эквивалент и меру в человеческом мышлении, в человеческих понятиях ценности, “мир истины”, с которым тщатся окончательно справиться с помощью нашего квадратного маленького человеческого разума, — как? неужели мы в самом деле позволим низвести существование до рабского вычислительного упражнения и кабинетного корпения в угоду математикам? Прежде всего не следует скидывать своего многозначного характера, этого требует хороший вкус, милостивые государи, вкус к благоговению перед всем тем, что не умещается в рамках вашего кругозора! Допускать, что правомерна лишь та интерпретация мира, при которой правомерны сами вы. При которой можно исследовать и продолжать работу научно в вашем смысле (— вы полагаете, собственно механистически?), интерпретация, допускающая числа, счет, взвешивание, наблюдение, хватание и ни чего больше, — есть неотесанность и наивность, если только не душевная болезнь, не идиотизм. Разве не вероятнее было бы допустить обратное: что как раз самая поверхностная и самая внешняя сторона бытия — его наибольшая мнимость, его кожа и ощутимость — и поддается в первую очередь схватыванию? быть может, только одна она и поддается? “Научная” интерпретация мира, как вы ее понимаете, могла бы, следовательно, быть все еще одной из самых глупых, т. е. самых скудоумных, среди всех возможных интерпретаций мира: говорю это на ухо и совесть господам механикам, которые нынче охотно околачиваются возле философов и намертво убеждены в том, что механика есть учение о первых и последних законах, на которых, как на фундаменте, должно быть возведено все бытие. Но механический по существу мир был бы миром по существу бессмысленным! Допустим, что значимость музыки оценивалась бы тем, насколько может она быть исчисленной, сосчитанной, сформулированной, — сколь абсурдной была бы такая “научная” оценка музыки! Что бы из нее поняли, уразумели, узнали! Ничего, ровным счетом ничего из того, что собственно составляет в ней “музыку”!..

374

Наше новое “бесконечное”.

Как далеко простирается перспективный характер существования или даже: есть ли у последнего какой-нибудь другой характер, не становится ли существование без толкования, без “смысла” как раз “бессмыслицей”. А с другой стороны, не есть ли всякое существование, по самой сути своей, толкующее существование — эти вопросы, как и полагается, не могут быть решены даже самым прилежным и мучительно-совестливым анализом и самоисследованием интеллекта: ведь человеческий интеллект при этом анализе не может не рассматривать самого себя среди своих перспективных форм и только в них одних. Мы не в состоянии выглянуть из своего угла: безнадежным любопытством остается желание узнать, какие еще могли бы быть иные интеллекты и перспективы: например, способны ли какие-нибудь существа воспринимать время вспять или попеременно вперед и вспять (чем было бы дано иное направление жизни и иное понятие причины и следствия). Но я думаю, мы сегодня не так уж далеки от жалкого нахальства распоряжаться из собственного угла и утверждать, что только из этого угла и позволительно иметь перспективы. Скорее всего, мир еще раз стал для нас “бесконечным”, поскольку мы не в силах отместить возможность того, что он заключает в себе бесконечные интерпретации. Еще раз охватывает нас великий ужас, — но кто был бы охоч до того, чтобы тотчас же начать снова обожествлять на старый лад это чудовище незнакомого мира? И почитать впредь незнакомое как

“незнакомое”? Ах, в это знакомое входит такое множество небожественных возможностей интерпретации, столько всякой чертовщины, глупости, дурности в интерпретации, включая и нашу собственную человеческую, слишком человеческую, на знакомую...

375

Почему мы кажемся эпикурейцами.

Мы осторожны, мы, современные люди, по части окончательных убеждений; наше недоверие затаилось в засаде против очарований и коварных уловок совести, свойственных всякой сильной вере, всякому безусловному Да и Нет; как это объяснить? Можно, по-видимому, с одной стороны, усматривать здесь осторожность “обжегшегося ребенка”, разочарованного идеалиста, но с другой и лучшей стороны, также и ликующее любопытство бывалого зеваки, который, зевая, дошел до отчаяния и теперь в пику своему зеванью роскошествует и пирует в безграничном, под “открытым небом вообще”. Тем самым вырабатывается почти эпикурейская склонность к познанию, которая не так-то просто упускает из виду проблематичный характер вещей; равным образом и отвращение к громким моральным словам и жестам, вкус, отклоняющий все топорные неуклюжие противоречия и гордо сознающий свою опытность по части оговорок. Ибо это и составляет нашу гордость: слегка натянутые вожжи при нашем рвущемся вперед стремлении к достоверности, сдержанность всадника в его бешеной скачке: мы и впредь, как и раньше, будем скакать на безумных огненных зверях, и если мы замешкаемся, то мешкать вынудит нас, пожалуй, меньше всего опасность...

376

Наши замедленные такты.

Так ощущают все художники и люди “творений”. Человек материнского типа: им всегда кажется, на каждом отрезке их жизни — который всякий раз отрезывается новым творением, — что теперь они у самой цели; смерть всегда принималась бы ими терпеливо и с чувством: “мы созрели для этого”. Это не есть выражение усталости, — скорее, осенней солнечности и кротости, которые всякий раз оставляют за собою в творце само творение, зрелость его творения. Тогда замедляется темп жизни и становится густым и медоточивым — вплоть до длинных фермат, вплоть до веры в длинную фермату...

377

Мы, безродные.

Среди нынешних европейцев нет недостатка в таких, которые вправе называть себя безродными в окрыляющем и славном смысле этого слова, — к ним пусть и будет недвусмысленно обращена моя тайная мудрость и *gausa scienza*. Ибо участь их сурова, надежда неверна; было бы непростым фокусом придумать для них утешение — да и чем бы это помогло! Мы, дети будущего, как смогли бы мы быть дома в этом настоящем! Мы неблагоприятны ко всем идеалам, в которых кто-либо мог бы еще чувствовать себя уютно даже в это ломкое, поломанное переходное время; что же до их “реальностей”, мы не верим в их долговечность. Лед, по которому сегодня можно еще ходить, стал уже очень тонок: дует весенний ветер, мы сами, мы, безродные, являем собою нечто проламывающее лед и прочие слишком тонкие “реальности”... Мы ничего не “консервируем”, мы не стремимся также обратно в прошлое, мы несколько не “либеральны”, мы не работаем на “прогресс”, нам вовсе не нужно затыкать уши от базарных сирен будущего, то, о чем они поют: “равные права”, “свободное общество”, “нет больше господ и нет рабов”, не манит нас! — мы просто царство справедливости и единодушия (ибо оно при всех обстоятельствах стало бы царством глубочайшей посредственности и китайщины), мы радуемся всем, кто, подобно нам, любит опасность, войну, приключения, кто не дает себя уговорить, уловить, умиротворить, оскотить, мы причисляем самих себя к завоевателям, мы размышляем о необходимости новых порядков, также и нового рабства, — ибо ко всякому усилению и возвышению типа “человек” принадлежит и новый вид порабощения — не правда ли? При всем этом мы должны чувствовать себя как на иголках в век, который горазд бахвалиться тем, что он самый человечный, самый кроткий, самый правовой из всех бывших до сих пор под солнцем? Достаточно скверно, что как раз при этих прекрасных словах возникают у нас тем более безобразные задние мысли! Что мы видим в них лишь выражение — и маскарад — глубокого расслабления, утомления, старости, скудеющей силы! Какое нам дело до мишуры, с помощью которой больной приукрашивает свою слабость! Пусть он выставляет ее напоказ, как свою добродетель, — не подлежит никакому сомнению, что слабость делает кротким, ах, таким кротким, таким правовым, таким безобидным, таким “человечным”! — “Религия сострадания”, в которую нас хотели бы обратить, — о, нам достаточно известны истеричные самцы и самки, которым нынче нужна как раз эта религия для покрывала и наряда! Мы не гуманисты; мы никогда не рискнули бы позволить себе разглагольствовать о нашей “любви к человечеству” — для этого мы недостаточно актеры! Или недостаточно сен-симонисты, недостаточно французы! Нужно глубоко погрязнуть в галльском излишестве эротической раздражительности и влюбчивой нетерпеливости, чтобы, все еще продолжая играть в

порядочность, лезть на человечество со своей похотью... Человечество! Была ли еще более гнусная карга среди всех старух (разве что “истина”: вопрос для философов)? Нет, мы не любим человечества; но, с другой стороны, мы далеко и не “немцы”, в расхожем нынче смысле слова “немецкий”, чтобы лить водну на мельницу национализма и расовой ненависти, чтобы наслаждаться национальной чесоткой сердца и отравлением крови, из-за которых народы в Европе нынче отделены и отгорожены друг от друга, как карантинами. Мы слишком независимы для этого, слишком злы, слишком избалованы, слишком к тому же хорошо обучены, слишком “выхожены”; мы во всяком случае предпочитаем этому жить в горах, в стороне, “несвоевременно”, в прошлых или грядущих столетиях, лишь бы уберечь себя от тихого бешенства, к которому мы были бы приговорены, будучи свидетелями политики, опустошающей немецкий дух тщеславием, и к тому же мелочной политики, — разве не вынуждена она, во избежание распада собственного ее творения, посадить его между двух смертельных ненавистей? разве не должна она желать увековечения партикуляризма в Европе?... Мы, безродные, мы, как “новейшие люди”, слишком многогранны и разнородны по своей расе и происхождению и, следовательно, мало искушены в том, чтобы принимать участие в изолгавшемся самопреклонении и блуде, которые нынче выпячиваются в Германии в качестве вывески немецкого образа мыслей и которые выглядят двукратно лживыми и непристойными у народа, обладающего “историческим чувством”. Мы, одним словом, — и пусть это будет нашим честным словом! — добрые европейцы, наследники Европы, богатые, перегруженные, но и обремененные чрезмерным долгом наследники тысячелетий европейского духа: как таковые, мы вышли из-под опеки и христианства и чужды ему, именно потому, что мы выросли из него и что наши предки были самыми беспощадно честными христианами христианства, жертвовавшими во имя веры имуществом и кровью, сословием и отечеством. Мы — делаем то же. Но во имя чего? Во имя нашего неверия? Во имя всякого неверия? Нет, вам это лучше известно, друзья мои! Скрытое да в вас сильнее, чем любые нет и может быть, которыми вы больны вместе с вашим веком; и когда вам придется пуститься по морям, вы, невозвращенцы, то и вас вынудит к этому — вера!..

378

“И станем снова светлыми”.

Мы, щедрые подаятели и богачи духа, стоящие, подобно открытым колодцам, на улице и не властные никому воспрепятствовать черпать из нас: мы не умеем, увы, защищать самих себя там, где мы хотели бы этого, мы никак не можем помешать тому, чтобы нас не мучили, не темнили, — чтобы время, в которое мы живем, не бросало в нас своей “злободневности”, грязные птицы — своих испражнений, мальчишки — своего хлама, а изнеможенные, отдыхающие возле нас странники — своих маленьких и больших невзгод. Но мы поступим так, как мы всегда поступали: мы примем и то, что в нас бросают, в нашу глубину — ибо мы глубоки, мы не забываем этого, — и станем снова светлыми...

379

Реплика дурака.

Эту книгу написал отнюдь не мизантроп: ненависть к человеку оплачивается нынче слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как прежде ненавидели человека, по-timoновски, целиком, без всяких скидок, от всего сердца, изо всей любви ненависти, — для этого следовало бы отказаться от презрения: а какой утонченной радостью, каким терпением, каким даже добродушием обязаны мы именно своему презрению! К тому же с ним мы — “избранники Божьи”: тонкое презрение есть наш вкус и преимущество, наше искусство, возможно, наша добродетель, мы — самые современные среди современных!.. Ненависть, напротив, сравнивает, сопоставляет, в ненависти есть уважение, наконец; в ненависти есть страх, большая, значительная доля страха. Мы же, бесстрашные, мы, более одухотворенные люди этой эпохи, мы в достаточной степени знаем свое превосходство, чтобы как раз в качестве более одухотворенных не испытывать никакого страха к этому времени. Нас едва ли обезглавят, заточат в темницу, сошлют; даже наших книг не запретят и не сожгут. Этот век любит ум, он любит нас и нуждается в нас, даже если нам пришлось бы дать ему понять, что мы художники по части всякого презрения; что при каждом общении с людьми нас слегка знобит; что при всей нашей кротости, терпеливости, человечности, учтивости мы не в силах уговорить собственный нос отказаться от своего предубеждения к близко стоящему человеку; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого, и искусство, если оно есть бегство художника от человека, или насмешка художника над человеком, или насмешка художника над самим собой...

380

“Странник” говорит.

Чтобы рассмотреть однажды нашу европейскую мораль издали, чтобы сопоставить ее с другими, прежними или будущими, моралью, надо сделать то, что делает странник, желающий узнать, насколько высоки городские

башни: для этого он покидает город. “Мысли о моральных предрассудках”, дабы не быть предрассудками о предрассудках, предполагают некую установку вне самой морали, некое по ту сторону добра и зла, куда должно взбираться, карабкаться, лететь, — а в данном случае наверняка уж некое по ту сторону нашего добра и зла, некую свободу от всякой “Европы”, понимая под последней сумму командных ценностных суждений, которые перешли в нашу плоть и кровь. То, что хочешь именно туда наружу и наверх, есть, быть может, маленькое сумасбродство, странное, безрассудное “ты должен”, — ибо и нам, познающим, свойственны свои идиосинкразии “несвободной воли”; вопрос в том, действительно ли можешь туда наверх. Это зависит от многих условий; главным образом вопрос сводится к тому, насколько мы легки или тяжелы, к проблеме нашей “специфической тяжести” Нужно быть очень легким, чтобы увлечь свою волю к познанию в такую даль и как бы над своим временем, чтобы сотворить себе глаза для обзора тысячелетий и вдобавок еще и чистое небо в этих глазах! Нужно избавиться от многого, что гнетет, парализует, подавляет, тяжелит нас, нынешних европейцев. Человек такой потусторонности, желающий сам обнаружить высшие ценностные нормы своего времени, должен прежде всего “преодолеть” это время в себе самом — такова проба его силы, — и, следовательно, не только свое время, но и свое прежнее отвращение к этому времени и разлад с ним, свое страдание от этого времени, свою несвоевременность, свою романтику...

381

К вопросу о понятности.

Очевидно, когда пишут, хотят быть не только понятными, но и равным образом не понятными. Вовсе не является еще возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной: возможно, именно это и входило в намерения ее автора — он не хотел, чтобы его понял “кто-то”. Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время ограждается от “других”. Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они сотворяют дистанцию, они воспрещают “вход”, понимание, как было уже сказано, — и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. И — говоря между нами, и в моем случае — я не хочу ни своим незнанием, ни живостью своего темперамента мешать вам понимать меня, друзья мои: именно живостью, как бы она ни вынуждала меня быть проворным в решении какого-либо дела, которое только так и может быть вообще решено. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной, — мигом туда, мигом оттуда. Это все еще суеверие людей, страдающих водобоязнью, врагов холодной воды, будто тем самым не добираешься до глубины, не погружаешься достаточно глубоко; они говорят, не имея опыта. О! ледяная вода заставит быть проворным! — И спрашивая между прочим: оттого ли только остается вещь действительно непонятной и неузнанной, что ее касаются, разглядывают, подмечают лишь на лету? Нужно ли сначала непременно усесться на нее? сидеть на ней, как на яйцах? *Diu postuque incubando*, как сказал о себе самом Ньютон? По крайней мере, есть истины особенно пугливые и чувствительные к щекотке, которыми и нельзя овладеть иначе, как внезапно, — которых надо застать врасплох либо отпустить... Наконец, моя краткость обладает еще и другим достоинством: в таких вопросах, как занимающие меня, я должен многое сказать быстро, чтобы это еще быстрее дошло до ушей. Следует, будучи имморалистом, заботиться о том, чтобы не развращали невинность, я разумею ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; больше того, мои сочинения должны воодушевлять их, ободрять, поощрять к добродетели. Я не знаю на земле ничего более забавного, чем зрелище воодушевленных старых ослов и дев, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели: и “это я видел” — так говорил Заратустра. Вот, пожалуй, и все относительно краткости; хуже обстоит с моим незнанием, из которого я не делаю тайны даже для самого себя. Есть часы, когда я его стыжусь; разумеется, и часы, когда я стыжусь этого стыда. Быть может, мы, философы, все без исключения относимся нынче к знанию скверно: наука растет, наиболее ученые из нас близки к открытию, что они слишком мало знают. Но было бы гораздо хуже, если бы дело обстояло иначе — если бы мы знали слишком много; нашей самопервейшей задачей было и остается: самим не путать себя. Мы являемся чем-то иным, чем ученые; хотя и нельзя обойтись без того, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас иные потребности, иной рост, иное пищеварение: нам потребно большее, нам потребно и меньшее. Сколько нужно духу для его питания — нет формулы, смогшей бы это определить; если же его вкус обращен к независимости, к быстрой ходьбе, к странствованию, к приключениям, быть может, до которых досрости лишь самые проворные, то он охотнее живет на скудной диете, но привольно, нежели связанным и откормленным. Не жира, но величайшей гибкости и силы хочет танцор от своего питания, — и я не знаю, чем еще желал бы быть ум философа, как не хорошим танцором. Именно танец и есть его идеал, его искусство, в конце концов и его единственное благочестие, его “богослужение”...

382

Великое здоровье.

Мы, новые, безымянные, труднодоступные, мы, недоноски еще не проявленного будущего, — нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более

отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального “средиземноморья” кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, — тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье — в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот Же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, — нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой ни кто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя — ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще современным человеком? Довольно скверно; но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам преподносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить; ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стал быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мериллом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую произвольную пародию, — и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые великая серьезность, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия...

383

Эпилог.

Но между тем как я в заключение без всякой спешки вырисовываю этот мрачный вопросительный знак и все еще намереваюсь напомнить моим читателям добродетели правильного чтения — о, какие это забытые и неведомые добродетели! — вокруг меня громко раздается самый что ни на есть злой, сочный, кобольдовый смех: сами духи моей книги обрушиваются на меня, тянут меня за уши и призывают меня к порядку. “Нам уже нестерпимо, — кричат они мне, — прочь, прочь с этой воронье-черной музыкой. Разве вокруг нас не светлое утро? И зеленая мягкая почва и лужайка, королевство танца? Был ли когда-либо более подходящий час для веселья? Кто споет нам песню, дополненную песню, такую солнечную, такую легкую, такую летучую, что не спугнет и сверчков, — скорее, пригласит сверчков петь и танцевать вместе с нею? И лучше даже дурацкая мужицкая волынка, нежели эти таинственные звуки, эти кваканья жаб, могильные голоса и сурочки высвисты, которыми вы до сих пор потчевали нас в вашем захолустье, господин отшельник и музыкант будущего! Нет! Не надо таких тонов! Настройте нас на более приятный и более радостный лад!” — Вам это так по вкусу, мои нетерпеливые друзья? Ну что ж! Кто бы не захотел вам угодить? Моя волынка к вашим услугам, моя глотка также — она может издавать несколько хриплые звуки, не взыщите! на то мы и в горах. Но То, что вам придется услышать, по меньшей мере, ново; и если вы этого не поймете, если вы недопоймете певца, что же тут такого! Таково уж “певца проклятье”. Тем отчетливее смогли бы вы внимать его музыке и мотиву, тем лучше плясалось бы вам под его посвистыванье. Хотите ли вы этого?..

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕСНИ ПРИНЦА ФОГЕЛЬФРАЙ

К Гете

Непреходящее
Лишь твоя участь!
Бог — вседразнящая
Рифма: на случай...
Цель, и как следствие —
Только дыра,
Хмурому — бедствие,
Дурню — игра...

Райская, адская
Барская смесь:
Вечно-дурацкое
Месит нас — днесь!..

Призвание поэта

Под деревьями недавно
Я уселся просто так,
Вдруг услышал, кто-то плавно
Тикал сверху, словно в такт.
Стал я зол и скорчил рожу,
Но вконец и сам размяк,
И — представьте — начал тоже
При говаривать в тик-так.
Слог за слогом, как вприпрыжку,
Стихотворной шли гурьбой,
И пришлось мне слишком-слишком
Посмеяться над собой.
Ты поэт? Да ты в уме ли?
И давно ли ты им стал?
“Вы поэт на самом деле”,
Дятел с ветки простучал.
Затаился я в засаде,
Как разбойник, и слежу.
Что ни слово, мигом сзади
Рифму к горлу приложу.
Все вокруг остервенело
Я на стих свой нанизал.
“Вы поэт на самом деле”,
Дятел с ветки простучал.
Рифмы, сударь мой, что стрелы,
Просверлят любую прыть,
Даже ящерицы тело
Смог я ими пригвоздить!
Ах, бедняжка, дышит еле,
Видно, час ее настал!
“Вы поэт на самом деле”,
Дятел с ветки простучал.
Сколько слов, о, сколько мыслей,
Рвущихся и так и смяк!
Словно бусинки повисли
На веревочке тик-так.
Разом стихли, присмирели
Всем на радость и печаль
“Вы поэт на самом деле”,
Дятел с ветки простучал.
Птица, хватит! Шутки эти
Надоели мне всерьез,
За себя я не в ответе,
Полон гнева и угроз! —
Трясся весь, а сам умело
Рифму с рифмою сличал.
“Вы поэт на самом деле”,
Дятел с ветки простучал.

На Юге

Так я повис нагнутой ветке,
Подняв усталость высоко.

Я птичий гость, хотя и редкий,
Мне рады эти однолетки.
Но где же я? Ах, далеко!
Белеет море, словно спящий,
Пурпурный парус, яркость дня.
Утес и смоквы, гавань, башни
И пастбища: покой слепящий, —
Невинный Юг, возьми меня!
Чеканным шагом — по-немецки —
Я жизнь протопать не хотел.
Я вызвал ветер молодецкий
И вместе с птицами по-детски
Над морем к Югу полетел.
О, разум! Нудное занятие!
Чуть что поймешь, так не дури!
У птиц уроки тщился брать я,
И вот теперь созрел я, братья,
Для новой жизни, для игры...
Сколь мудро — мыслить в одиночку,
И сколь нелепо — так же петь!
Вы, птицы, сядьте-ка кружочком,
Теперь я сам, и неумолчно,
Спою вам, полно вам лететь!
Про вашу юность, вашу лживость,
С ума сводящую игривость
И про мою влюбленность в вас.
На Севере — шепну стыдливо —
Любил каргу я, дрянь на диво,
Карга та “истиной” звалась...

Набожная Беппа

С такою-то фигуркой
Мне набожность к лицу.
Я нравлюсь не придуркам —
Всевышнему Отцу.
Он, видно, не накажет
Послушника того,
Что сам не свой от блажи
И пыла моего.
Не хмурый инок в келье!
Нет, остренький, как нож,
Он всякий раз с похмелья
Ревнив и — невтерпеж.
Мне старики противны,
А он к старухам строг:
Как мудро и как дивно
Устроил это Бог!
Я с церковью не в разладе,
Что-что, а этот жар
Она мне, Бога ради,
Отпустит, как и встарь.
Бормочут с нетерпеньем,
Уж я-то знаю всех,
И с новым согрешеньем
Стирают прежний грех.
Прославим же величье
Всевышнего, что сам,
Ей-ей, не безразличен
По этой части к нам.

С моею-то фигуркой
От набожности млетъ:
А чуть стара, пойду-ка
Хоть к черту под венец!

Таинственный челн

Этой ночью, точно жуть,
Навевал бездомный ветер,
Надрывая стоном грудь,
Я в зловещем лунном света
Тщетно силился уснуть,
Отгоняя страхи эти.
И, дурных предчувствий полн,
Побежал потом я к морю.
Там пустой качался челн,
Челн таинственный, в котором
Под сонливый выплеск волн
Кто-то спал, сморен измором.
Тут, на час или на два,
Или год то длилось целый? —
Чувства, мысли, голова —
Все куда-то отлетело,
И узрел, живой едва,
Бездну я — на самом деле!
Утром крики, вновь и вновь,
Челн чернеет там же шатко...
Что случилось? Что за кровь?
Что за странная загадка?
Нет же, нет же! Мы без слов
Спали оба — ах! так сладко!

Объяснение в любви

(при котором, однако, поэт упал в яму-)

О, чудо! Он летит?
Все выше, выше — и без взмаха крыл?
Куда же он парит?
Полет его каких исполнен сил?
Как вечность и звезда,
Он в высях обитает, жизни чужд.
И зависть навсегда
Взлетает вслед за ним, не зная нужд.
О, птица, альбатрос!
Твой горный образ зов мой и судьба.
Во мне так много слез
И столько слов — да, я люблю тебя!

Песня феокритовского козапаса

Лежу я, кишки свело, —
Клопы меня съели.
А там еще шум и светло!
Одно веселье...
Она хотела прийти,
Жду, как собака, —
Уж солнцу пора взойти,
И нет ни знака.
А ведь обещала одним
Взглядом, без позы?

Или она за любым
Бежит, как козы?
Ах, как я ревнив и зол
К ее нарядам!
Неужто любой козел
Берет у нее что надо?
Кипит многословный яд
В любовном растворе.
Так душевной ночью блестят
В саду мухоморы.
Любовь меня валит с ног,
Как дьяволица, —
В горло не лезет кусок,
Прощай, луковица!
Уж месяц уплыл за моря,
И звезды угрюмы,
Сереет заря, — и я
Охотно бы умер.

“Этим душам ненадежным”

Этим душам ненадежным
Лютый я укор.
Все их почести мне тошны,
Их хвала — один сплошной позор.
И за то, что непонятен
Им мой ряд и лад,
Виден в их приветном взгляде
Трупно-сладкий, безнадежный яд.
Лучше выберите со страстью
И катитесь прочь!
Вашей порчи и напасти
Мне вовек, вовек не превозмочь.

Дурак в отчаянье

Ах! Все написанное мной
Дурацким сердцем и рукой
Достойно ли запоминанья?..
Вы говорите: “Все старанья
Достойны только вытиранья,
Когда старается дурной!”
Ну, что ж! Я губкой и метлой
Так преуспею в подметанье,
Как критик и как водяной.
Но погляжу я стороной
На вас, о, мудрецы и врази,
Что мудростью все обоср...

Rimus remedium

Или: Как утешаются больные поэты

Из уст твоих
О, ведьма-время, лишь слюна
Течет часами, и от них
Душа отчаянья полна:
Я, глотку Вечности браня,
Бессильно стих.
Мир — это медь:
Нагретый бык — он глух на крик.

Мне прямо в кости пишет смерть
Ножом и вмиг:
“Мир — это твердь,
В нем сердца нет, мир — это бык!”
Пролей все маки,
Лей, лихорадка! Яд не в мозг!
Я от тебя насквозь промозг.
Ты хочешь денег? Хочешь драки?
Ха! Девка, ты достойна розг
И брани всякой!
Нет! Нет! Вернись!
Там дождь, там слякотно и гадко.
Я окружу тебя достатком.
Возьми! Тут золото! Не злись! —
Мы навсегда с тобой сошлись,
О, лихорадка!
Нет больше мочи!
Дверь настезь, гаснут фонари:
Ко мне гурьбой все беды ночи!
Кто нынче слаб по части рифм,
Держу пари,
На риф наскочит!

“На счастье мне!”

Я снова вижу голубей Сан-Марко:
Притихла площадь, полдень спит на ней.
И праздным взмахом в мир иссиня-яркий
Пускаю песни я, как голубей, —
Они в моей ли власти?
О, сколько рифм в их перьях, как подарки,
На счастье мне! на счастье!
На небе, точно вышитом из шелку,
Застыла башня, небо заслоня!
Люблю ее, ревную втихомолку...
Я б душу выпил из нее до дна,
Как светлое причастье,
Неся ее в себе и без умолку!
На счастье мне! на счастье!
Каким же, башня, львом твой профиль узкий
Вознесся, замирая на бегу!
Ты площадь заглушаешь. По-французски
Была бы ты ее accent aigu?
И все твои напасти
Звучат уже во мне нажимом хрустким...
На счастье мне! на счастье!
Прочь, музыка! Пусть тени станут гуще
И вырастут в коричневый покой!
Ты ранний гость, покуда не опущен
На золото убранств покров ночной,
Покуда день у власти.
Но грядет ночь предвестием зовущим
На счастье мне! на счастье!

К новым морям

Вдаль — хочу я: и отныне
Только выбор мой со мной.
Мчится в пагубные сины
Генуэзский парус мой.

Все блестит мне быстротечно,
Полдень спит в объятьях дня —
Только глаз твой, бесконечность,
Жутко смотрит на меня!

Сильс-Мария

Здесь я засел и ждал, в беспрокем сне.
По ту черту добра и зла, и мне
Сквозь свет и тень мерещились с утра
Слепящий полдень, море и игра.
И вдруг, подруга! я двоиться стал —
И Заратустра мне на миг предстал...

К мистралю
танцевальная песнь

О, мистраль, тучегонитель,
Хандроборец, очиститель,
Шумный, я люблю тебя!
Разве мы с тобой не братья,
Разве мог того не знать я,
Что у нас одна судьба?
Вот, в горах, забыв все речи,
Я бегу тебе навстречу
И не чувствую земли:
Ты, что мчишь морские воды,
Как свободный брат свободы,
Обгоняя корабли!
Зов твой гнал меня из ночи,
Рвался я, что было мочи,
Словно знал уже — куда.
Буйной россыпью алмазов
Ты пронесся, светлоглазый,
Ниоткуда в никуда.
И в лучах небесной славы
Видел я тебя, как правил
Колесницей ты богов.
Видел длань твою, о, вольный,
Как она бичом из молний
Погоняла скакунов, —
Видел я, как на лету ты,
Притормаживая круто,
Кувыркался в небосвод.
И с рассветом, точно слезы,
Вертикально — прямо в розы —
Опрокидывал восход.
Там, где тысячью горбами
Спины выросли под нами,
К танцам воля нас вела!
Мы на спинах гнутых пляшем,
Вольно в нас — искусство наше,
И наука — весела!
Мы с цветов себе цветенье
Жадно рвем в вознагражденье
И листочки — на венок!
Пляшем мы, как трубадуры,
В нас ужились две натуры —
Блуд и святость, мир и Бог!
Кто не хват плясать с ветрами,

Кто обмотан весь бинтами
В лазарете чахлых душ:
Горемыки и притворцы,
Остолопы, гуси, овцы —
Прочь из наших райских кущ!
Мы столбы взметаем пыли
Чохом в ноздри, что простыли,
Избегая всех зараз!
Берегитесь, мы смертельны
Там, где жизнь — режим постельный
И подгляд трусливых глаз!
Мы охотники за мраком,
Что торгует тучей всякой
И чернит миры вокруг.
Мы шумим, С твоим ненастьем
И мое бушует счастье,
О, всех вольных духов дух!
Как еще тебя восславить?
Так возьми ж себе на память
Тот венок, что сплел я здесь!
Дальше брось его — ты слышишь? —
Прямо в небо — выше, выше —
И к звезде его подвесь!